

8675

ЛЕСЯ УКРАИНКА
ИЗБРАННЫЕ
СТИХИ



117630

330

ДЕРЖЛІТВИДАВ

У 48

ЛЕСЯ УКРАИНКА

ИЗБРАННЫЕ СТИХИ

Перевод с украинского
под редакцией
Я. ГОРОДСКОГО



1620. 8675

ВКО — СССР
БИБЛИОТЕКА
35 Отд. Радио Роты ВНОС
Инв. № ~~615~~ 2020

НБ ПНУС

8675

Державне Літературне Видавництво
Київ — 1940

Редактор
Я. Городской
Художественно-техническое
оформление
М. Штулифер
Корректор
В. Воронина

Слово, зачем ты не стала боевая,
Что среди боя горит как живая,
Или не острый безжалостный меч,
Тот, что сечет вражьи головы с плеч?

Ты, мой клинок, закаленное слово,
Я тебя вынуть из ножен готова ...
Только ты кровь мне из сердца прольешь,
Вражьего ж сердца клинком не пробьешь ...

Выточу, выострю меч для сраженья,
Не пожалею ни сил, ни уменья,
Будет сверкать на стене его сталь,
Вам на утеху, а мне на печаль.

Слово, оружие готовое к бою,
Мы не погибнем напрасно с тобою!
Может, в руках неизвестных друзей
Станешь мечом ты на их палачей.

Звякнет клинок и о цепи ударит,
Эхо к твердыням тиранов направит,

Встретит бряцание братских мечей,
Звуки иных, не тюремных речей.

Мстители сильные вместе с тобою
Выступят дружно, готовые к бою...
Слово мое, послужи ты бойцам
Лучше, чем служишь ты слабым рукам!

1896

Моя Путь

Лирика

МОЙ ПУТЬ

На шлях я вышла раннею весною,
Ведя напев свой тихо и несмело.
А кто встречался по пути со мною,
Тому я песню радостную пела:
„Идя одна, и я собьюсь с пути,
А вместе — легче верный путь найти“.

Вперед иду я с песнею своею ...
Нет! Не ищите в ней пророческой науки.
Я голоса большого не имею!
Но если плачет кто от тяжелой муки,
Я говорю: „Заплачем вместе, друг!“
Сплета с рыданьем тихой песни звук.

Страшны и злы нерадостные годы ...
Но если мне в моем пути придется
Услышать песни счастья и свободы,
В моей душе на них ответ найдется.
Я мигом спрячу жалобу свою
И песню вольную торжественно спою

Когда на небо черное гляжу я,—
Я новых звезд увидеть не желаю.

Я братство, равенство и волю дорогую
Сквозь тучи жизни высмотреть мечтаю,
Те три звезды родной моей земли,
Что столько лет мерещатся вдали...

Пусть только горе я в пути найду,
Пусть, может, встречу и цветок душистый,
Пусть я до цели радостной дойду,
Пусть без поры окончу путь тернистый,—
Хочу окончить этой жизни шлях,
Как начинала: с песней на устах!

ПРЕДРАССВЕТНЫЕ ОГНИ

Тьма ночи людей утомленных укрыла,
Ироким крылом осенила.
Погасли ночные огни
И сну подчинились они.
Всех властная ночь покорила.

Кто спит, кто не спит — покорись темной силе.
Ты счастлив, коль сны приходили!
Но сон — мне не брат и не друг...
Тяжелая полночь вокруг,
Вокруг — все во сне, как в могиле.

Измучили призраки душу поэта,
Но встать не могла я до света...
Вдруг зори грядущего дня
От сна пробудили меня,—
Огни предрассветные это!

Огни нас победно, торжественно будят,
Прорезали полночь, как в чуде.
Хоть солнца лучи еще спят,—
Огни пред рассветом горят,
Зажгли их рабочие люди.

Вставай, кто живой и чья дума возстала!
Пора для работы настала!
Пусть в полночь не видно ни зги,—
Огонь предрассветный зажги,
Коль солнце еще не взыграло.

ТИШИНА МОРСКАЯ

В час полуденный, горячий,
Я смотрю в свое оконце:
Ясно небо, ясно море,
Ясны тучки, ясно солнце.

Верно, это край сиянья
И лазури золотистой,
Верно, здесь вовек не знали,
Что бывают в мире бури.

Тихо в море... еле-еле
Кольхает волны море,
Не шелохнется от ветра
Белый парус на просторе.

И волна скользит на берег
Вся жемчужно-голубая,
Кто-то лодочкою правит,
Вьется тропка золотая,

Кто-то лодочкою правит,
Тихо весла подымает,

И мне кажется, что с весел
Влага золотом спадает.

Как бы я теперь хотела,
Управляя лодкой легкой,
Снова плыть к восходу солнца
Золотым путем далеко.

Поплыла б к восходу солнца
И к закату — от восхода,
Тем путем, что солнце блеском
Проложило через воду.

Не боясь ни скал подводных,
Ни ветров, ни бурь дыханья, —
Я о них не вспоминала б
В крае вечного сиянья.

1890

В НЕНАСТНУЮ ТУЧУ...

В ненастную тучу собралась кручина моя,
Огнями-зарницами грусть моя в ней разгулялась,
Ударила молнией в сердце,
И крупным дождем полились мои слезы.
Промчалась та непогодь - буря грозой надо мною,
Но все ж не сломила меня и к земле не пригнула.
Я гордо лицо подняла,
И взором, омытым слезами, теперь я взглянула
яснее,

И в сердце моем зазвучали победные песни,
Весенняя сила в душе заиграла,
Ее не сломили морозы суровой зимы,
Ее не пригнуло туманом тяжелым к земле,
Ее не разбила весны перелетная буря.
Я выйду одна против бури
И встану — померяем силу!

1894

ДАВНЯЯ ВЕСНА

Была весна веселой, щедрой, милой,
Лучом играла, рассыпала цвет,
Она летела с быстротой стокрылой,
И птицы певчие за нею вслед.

Все ожило и все вокруг запело.
Зеленый шум,— и звуков даль полна.
Заговорило все и зазвенело,—
А я лежала в комнате больна.

Я думала: „Весна для всех настала,
И всем подарки принесла она,
Лишь для меня подарка не достала,
Меня забыла светлая весна“.

Нет, не забыла! В окна заглянули
Ко мне ветвями яблони, легки,
И листьями зелеными качнули,
И белые рассыпали цветки.

Ворвался ветер, и в жилище тесном
Про волку он весеннюю запел,

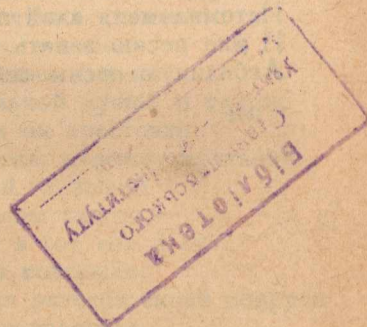
И вслед за ним примчались птички песни,
И милый отзвук леса прилетел.

Моя душа вовеки не забудет
Подарка, что весна мне принесла,
Весны такой уж никогда не будет,
Как та, что за окном тогда цвела.

1894



415-2022
8675



ЭТА ТИХАЯ НОЧЬ

Эта тихая ночь - чаровница
Покрывалом спокойным, широким
Распростерлась над сонным селом,
В небесах просыпалась зарница,
Будто в озере тихом, глубоком
Лебедь всплескивал белым крылом.

С каждым всплеском тех крыл лебединых
Сердце билось, в тоске сиротело,
Замирало в тяжелой борьбе.
Истомил меня злой поединок
И мне песню запеть захотелось,
Лебединую песню себе.

1894

МАТЬ - РАБА

Был ясный и веселый день весенний,
К нам в комнату, в распахнутые окна,
Врывался шум потоков говорливых,
Что вниз бежали улицей нагорной,
И ветерок влетал, и как ребенок
Бросал он на пол со стола бумаги,
А вслед за ним летела стая звуков,
Та песня города, что всем знакома,
Но уж и в ней иные были ноты
Весенние ... Они звучали не для нас,
Весна не заглянула в наше сердце.
А та весна, что за окном смеялась,
Нам принесла нерадостные слухи
И новости тюремные: в неволе
Сидит один, а тот сошел с ума
В тюрьме, а тот, больной душой и телом,
Недавно вышел, был он арестован
Как раз в расцвете сил, надежд, мечтаний.
Над нами тоже тучей грозивою
Нависли темные угрозы власти,—
Такой была для нас в тот год весна.
Сидели мы вдвоем и говорили,
Я с грустью слушала рассказ своей подруги
И бахрому рассеянно сплетала
На скатерти (подруге эту скатерть

В остроге мать когда-то вышивала);
Рассказ тот был отрывистым и тихим,
А голос от печали приглушенным,
Он скоро оборвался, как струна.
Всё стихло в комнате, лишь было слышно,
Как в ней играл малыш моей подруги
И маленьким похлестывал кнутом,
На стуле сидя, трогаясь в дорогу.
Я, глядя на него, тогда сказала:
„Ну что же делать? Не печальтесь, друг мой,
Хоть, может, мы и не увидим воли,
Зато ребенок ваш ее увидит.
Что скажешь ты мне, маленький философ?“
Ребенок на меня взглянул разумно
И ясно любопытными глазами,
А мать его промолвила мне быстро:
„Молчите, пусть он этого не знает.
Мне помнится, еще ребенком часто
Я слышала от матери покойной:
Как вырастешь, свободной будешь, дочка.
Она так весело и твердо говорила,
Что я поверила тогда в судьбу иную,
И верила, пока не подросла.
Так говорят и моему ребенку...
Иди играй, мой маленький, иди же“.
Ребенок вновь к игре своей вернулся,
Подруга села шить, а я за книжку,—
Наш разговор на этом был окончен...

1895

TO BE OR NOT TO BE

Стой, сердце, стой! Не бейся так мятежно!
Умолкни, дума, не летай так буйно!
Не бейся крыльями в пустом просторе.
Ты, муза ясноокая, меня
Не ослепляй огнем очей бессмертных!
Дай руку, дай ты мне к твоей груди прижаться.
Тебе я отдала все, что имела,—
Так дай же мне и ты совет великий.

Смотри: вокруг неспаханное поле
И чащи дикие, и круч высоты,
Глухие воды темные. Смотри:
Дорог не видно, только кое-где
Тропинки, путаясь, бегут в безвестность.
Вон люди пашут поле — их немного,
Стук топора из чащи еле слышен,
С высоких круч плывет орлиный клекот,
Лишь воды тихие стоят безмолвно,
И только камень с круч порой сорвется,
Бесследно канет, сгинет в темных водах,—
Исчезнет, разойдется круг дрожащий.

Наставница высокая, скажи мне,
Куда мне устремиться на просторе?
Иль серебро и золото должна я
Снять с лиры и сковать себе орало,
А струнами связать вот эти крылья,
Чтоб не ложилась тень на узкой борозде,
С другими рядом полосу занять,
Вспахать, засеять целину, а дальше —
А дальше жатвы ждать другим на пользу?
Иль, может, кинуться туда, в трущобу
И в диких дебрях пробивать дорогу
И с топором в руках, и с тонкою пилою,
Покуда ствол какой-нибудь гигантский
Меня задавит в чаще непролазной?
Или взлететь орлицею высоко,
Над крутизной, в простор необозримый,
Схватить из тучи молнию живую,
Снять со звезды сияющий венец
И свет зажечь во тьме глубокой ночи?
А если этот свет погаснет мигом,
Как метеор, и темнота чернее,
Страшнее станет, чем была когда-то?
А если вдруг не станет больше силы,
Огонь спалит мне крылья, упаду
Я словно камень, что сорвался с кручи
Туда, в глухие воды, в глубину,
В холодный омут, и недолго будут
Дрожать круги на плоскости воды?

Молчишь ты, муза гордая! Глаза лишь
Огнем пылают, радужные крылья
Широким взмахом к высям устремились
И ринулись. О чародейка, стой!
Возьми меня с собой, помчимся вместе!

Пролетал буйный ветер над морем
 На безмерно широком просторе,
 Поднимались высокие волны,
 Еще выше вставали от ветра,
 Как враждебное войско гремели,
 Заглушали они буйный ветер.

Пролетал буйный ветер в пустыне,
 По бескрайнему, мертвому полю;
 Закружились песчаные вихри,
 Протянулись к высокому небу,
 словно страшные, злые гиганты,
 И рассыпались, свергнуты небом;
 Смерть покрыла след буйного ветра.

Пролетал буйный ветер над башней,
 Одиноко стоявшей над бездной,
 Там нашел он Эолову арфу;
 Тронул длинные тонкие струны —
 И они отозвались напевом,
 Что отраднее звонкого ветра.
 Буйный ветер замолк, улетая,
 Арфа ж долго еще не смолкала...

„Да будет тьма!“ — сказал наш бог земной.
 И стала тьма, и хаос все покрыл,
 Как перед сотвореньем мира. Нет, он гуще
 Был, этот хаос, и блуждали в нем
 Живые души, их давила тьма.

Сквозь призрачность из хаоса вставали
 Зараза злая, бедность, голод, страх, —
 Необычайный страх знобил всем душу:
 И самым смелым становилось жутко
 От воплей и голодного стенанья,
 Что подымалось, как со дна морского,
 Из темной и большой толпы. Казалась
 Частицей хаоса толпа людская
 И голосом его. Порою раздавались
 Во тьме глубокой крики: „Света! Света!“
 И слышался в ответ могучий голос
 Земного бога с возвышенья трона:
 „Да будет тьма!“ И хаос вновь царил.

О, не один потомок Прометея
 Живую искру с неба добывал,
 И много рук тянулось к этой искре,

Как бы к звезде счастливой, путевойной.
И рассыпалась та большая искра
На маленькие искорки другие,
И каждый прятал искру будто клад,
И с давних пор хранил в холодном пепле;
Она не гасла, тледа в той могиле
И не давала ни тепла, ни света.
А доблестный потомок Прометея
Вдруг находил удел печальный предка:
Изгнанье, муки, тягостные ковы,
Смерть раньше срока в диком отчуждении...
И нынче так, друзья! И нынче тьма!
Эй, отзовитесь! Страшен этот хаос.
Отважный, вольный слышала я голос,
Он раздавался как лесное эхо,—
Теперь умолк и тишина страшнее,
Мне кажется, вдруг стала, чем была.
Друзья мои, потомки Прометея!
Нет, не орел грудь гордую терзал вам,—
То в сердце змеи лютые впились.
Вы не прикованы к той крутизне кавказской,
Что издали челом сияет снежным
И людям весть о пленнике дает!
Нет, вы схоронены в землянках и оттуда
Не слышно звона кандалов, не слышно стона
И непокорных слов...

О, ночи цари!
Наш самый лютый враг! Недаром ты боишься
Цепей кандалных музыки железной!
Боишься ты, что грозные те звуки

Пронзят собой и каменное сердце.
А чем же заглушишь ты дикий голос
Сплошного хаоса, и голод, и беду,
И те отчаянные вопли „света, света“?
На них всегда, как будто эхо в даях,
Отважный, вольный голос отзовется.
„Да будет тьма!“ Но этого ведь мало,
Чтоб хаос заглушить, чтоб умер Прометей.
И если ты силен безмерной силой,
Последний дай приказ: „Да будет смерть!“

Я САМА СЕБЕ НА ГОРЕ...

Я сама себе на горе
В детстве падала, бывало,
И, хоть сердцу было больно,
Тихо на ноги вставала.

Что болит? — бывало, спросят,
Только я не признавалась,
Я была ребенком гордым,
Чтоб не плакать, — я смеялась.

А теперь, когда внезапно
Шуткой злой грозит мне драма,
И вот-вот сорваться хочет
Острым словом эпиграмма,

Беспощадной силе смеха
Не хочу я предаваться,
И, забыв былую гордость,
Плачу я, чтоб не смеяться.

1897

МЕЧТЫ

В дорогие годы детства
Сердце накрепко свыкалось
С необычным и чудесным,
Я любила век героинства.

Только странно, что не принцы,
Некой тайною укрыты,
Не прекрасные принцессы
Мой рассудок чаровали.

На картинках я смотрела
Не на гордых дуэлянтов,
Что, соперника осилив,
Говорят со злобой: „Сдайся!“

Опускался взор мой ниже
На того, кто навзничь падал,
Кто, копьём к земле прибитый,
Говорил: „Убей, не сдамся!“

Не казался мне великим
Тот лихой и пышный рыцарь,

Что красавиц непокорных
Брал рукой вооруженной.

Чаровал ответ прекрасный
Гордой пленницы отважной:
„Ты меня убить лишь можешь,
Но заставить жить — не в силе!“

Детство юное исчезло,
Как весенние потоки,
Только гомон вод весенних
Мы вовек не забываем.

Он мне слышится порою
В долгий час бессонной ночи,
Выступая прихотливо
За узорами горячки.

Потолок тогда мечтает,
Как готические своды,
На цветах оконных ветки
Выступают, как решетки.

Сквозь окно в мой дом уснувший
Красноватый свет струится,—
Это улиц луч обычный
Или отблески пожара?

Что шумит неудержимо?
Ненавистный дикий гомон!

Или то игра горячки,
Или в городе сраженье?

У меня ли боль ночная
Вырывает стон притихший,
Или стонет пленник-рыцарь,
Что от ран изнемогает:

„Есть живые в этом замке?
Кто в груди имеет сердце?
Другом будь, взойди на башню,
Посмотри на поле битвы!“

Посмотри на поле битвы,
Кто в сраженьи побеждает?
Все ли выются над рядами
Крестовидные знамена?

Если нет,— сорву доспехи!
Будь ты проклята навеки,
Кровь, что пролита лениво
Не за милую отчизну.

Нет, пароль я слышу ясно!
Вот он слышится все громче!..
Завяжи покрепче раны,
Лить напрасно кровь не надо!..“

Так играли грезы детства
Меж виденьями болезни,

А теперь? — ушла горячка,
Но мечты не исчезают.

И мерещится мне часто,
Что сижу в плену суровом
И невидимой рукою
Я закована в железо.

Что в руке моей оружие
Неизломанным осталось,
Но оковы не дают мне
Шевельнуть рукой бессильной.

Глухо, тихо в сонном доме,
Не шумит горячка в жилах,
И не слышен издали
Грохот дикого сраженья.

Так и хочешь громко крикнуть,
Словно рыцарь детской грезы:
„Кто живой? Взойди на башню,
Посмотри на всю окрестность!“

Посмотри, видны ли в поле
Наши честные знамена?
Если нет — я жить не буду,
Пусть скорей мне вскроют жилы,

Пусть потоком кровь прольется,
Будь ты проклята навеки,
Если пролита лениво
Не за честные знамена !..“

1897

ОТРЫВКИ ИЗ ПИСЬМА

Не сетуйте, друг, что стихом отвечаю ленивым.
Рифмы, дочери долгих бессонниц — в разлуке
со мной,

Смутной волною размер набегаёт,
О преграду ничтожную вдруг разбиваясь.
Не ищите вы в нем понапрасну девятого вала,
Могучей волны, что качается в такт
с океанским теченьем.

Раздумье теперь навевает мне Черное море —
Дико, неверно оно, ни закону, ни ладу не знает,
Все играло-шумело вчера
При ясной спокойной погоде,
Сегодня же тихо и ласково шлет к берегам
свои волны,

Хоть ветер и гонит неистово тучи седые.
Так бы всегда и лежала я рядом с живою водою,
Смотрела б, как щедро бросает она жемчуга,
самоцветы

На эти прибрежные камни,
Как тени цветные от туч золотистых
Идут по равнине серебряно-синей
И вдруг исчезают,
Как белая пена слегка розовеет,

Как будто красавицы облик стыдливый,
Как горы темнеют, покрытые белою дымкой,
Они так спокойно стоят,
Ведь их стережет колоннада немых кипарисов,
Высоких и важных.

Я только что вновь прочитала
Ваш сильный, как будто бы сталью закованный,
Вооруженный ваш стих.
Чем заплатить я могу вам теперь за него?
Сказку хотя б расскажу, а мораль выводите
уж сами.

Торной дорогой крутой
Мы подымались на взгорья Ай-Петри;
Вот уж проехали мимо садов-виноградов
кудрявых,
Что, как роскошный ковер, все подножье
горы покрывают,

Вот уже лавров, любимых поэтами,
Пышных магнолий не видно,
И ни прямых кипарисов, густо обвитых плющем,
И ни шатрами нависших платанов, —
Только встречались нам ветви знакомые —
белой березы,
Яворов, темных дубов, к непогоде и к бурям
привычных,

Но и они уж остались далеко за нами,
Чертополох, да полынь, да терновник росли
у дороги,

Скоро не стало их,—
Мел да песок, красноватые, серые камни
Висли над нашей дорогой бесплодны и голы,
Будто бы льдины на северном море.
Сухо, нигде ни былинки, всё камни кругом
задавили,

Словно глухая тюрьма.
Солнце горячее стрелы на мел осыпает,
Ветер швыряется пылью,
Душно ... ни капли воды... будто это дорога
в Нирвану,
Страну побеждающей смерти ...

Но вот в высоте,
На остром, на каменном шпигле блеснуло
вдруг что-то, как пламя.
Свежий, прекрасный, большой цветок
лепестками раскрылся
И капли росы самоцветом блестели на дне.
Камень пробил он собой, тот камень, что
всё победил,

Что задавил и дубы
И терновник упрямый.
Этот цветок по-ученому люди зовут „саксифрага“,
Нам, поэтам, назвать бы его „ломи-камень“
И уваженье воздать ему больше,
чем пышному лавру!

ПРОКЛЯТИЕ РАХИЛИ

(ОТРЫВОК)

... Мессию ищет Иродова стая.
Как по весне вода, повсюду льется кровь
И дети падают на землю, умирая,
Как падает роса с деревьев и цветов.
Подняв стenanья, плач и крик великий,
Рыдания Иудея предалась.
В Шеоли горестном бушует гомон дикий
И древняя Рахиль из гроба поднялась.
О детях умерших она рыдает,
Как привиденье, к трупам припадает,
Проклятья, стоны, как пожара дым,
Взлетели к небу. Внял им Элоийм
И ангела - посла немедля шлет к Рахили,
И с неба Серафим летит стрелы быстрее ...
И два крыла все небо заслонили,
Когда торжественно склонился он над ней.

Серафим:

— Оставь, родная мать, не рыдай,
Сияют нам надежды золотые,
Как новая звезда. Рахиль, узнай:
К нам из Египта явится Мессия.

Возвеселись, Рахиль! Израиль ожидает.
Мессия новый свет Израилю несет.

Рахиль:

— Нет, нет веселья мне, коль правды нет
на свете!

О, Серафим! У вас на небесах
Не плачут матери, не умирают дети
И вам неведом смерти страх.
Мессия! Что ему до горя и неволи?
Он царь земли, бессмертный божий сын,
А из моих детей, погибнувших в Шеоли,
Не встанет, не вернется ни один.
По страждущей земле разлились крови реки.
Бурлив ее поток и хлещет вновь и вновь.
Четырнадцать колен не смогут смыть вовеки
Безвинно пролитую кровь!
И снова пролито народной крови море,
И только для того, чтоб был живым один.
За кровь детей моих, за эту бездну горя
Пушкой заплатит он — Марии сын!
А если нет, на страшный суд приду я,
В Иосафатовой долине встану я
И перед всей землей воскликну, негодуя:
— Себя суди, неправый судия!

Бледнел от боли ясный Серафим
И вдруг исчез, не вымолвив ни слова,
Закрыв лицо крылом сияющим своим...

Рахиль стояла тихо и сурово,
Как столп могильный... Трепетная мгла
Сгущалась грозно под звездой востока,
Что над землей лучи свои лила
И равнодушно и жестоко.
Дрожа от ненависти, глянула Рахиль,
Два кулака подняв над головою:
— Гори, проклятая звезда, на сотни миль
И путь Марии освещай собою.
Мария, радуйся! Твой сын, твоя любовь,
Спасен от гибели! Но грянет час ужасный
И так погибнет он, ребенок твой злосчастный,
Как все мои малютки.

Кровь за кровь!

ОСТАЛАСЬ НЕОКОНЧЕННОЙ БЕСЕДА

... Осталась неоконченной беседа.
Она дрожит оборванной струной.
В моей душе нет радостного следа,
Она как гроб раскрылась предо мной.

Пришла печаль из тяжких снов неожиданно,
Гигантом встала, доросла до туч,
Зажглась и жалость, говор океана
В пожаре этом яростно горюч.

То пламя гнет Бастилии разбило,
Летела у тирана голова.
О, у иных пожар тот будит силы,
Он будит у меня слова, слова.

Товарищ! Не могу молчать я снова,
Такое уж проклятие на мне,
Что я тоску встречать привыкла словом:
Так звонки, скорбны думы в тишине.

Глухонемыми темными часами
Не заглушить тех дум, когда звенят,—

Вот так рабы лишь шевельнут руками,
Как цепи на руках и загремят.

Там, где на всем лежит печать молчанья,
Где жалобы и песни — все слабей,
Где сдавлены проклятья и рыданья —
Там людям весть дает лишь звон цепей.

Так пусть звенят оковы по - острожья,
Не заглушу. Когда б они смогли
Вдруг эхо вызвать, раны потревожить
В сердцах людей, что мохом поросли;

Когда б они напомнили некротко
О братьях, заточенных здесь и там,
Сидящих за железною решеткой
И отданных презренным палачам;

Когда б те звоны силой гневных молний
Могли ударить в спящие сердца,
Прогнать покой, стыдом людей наполнив,
И всем сказать: оружие ждет борца;

Когда б оружие ринулось в сраженье,
Заговорило б тучей грозовой,—
Тогда б умолкли в некое мгновенье
И звон цепей и разговор такой...

ЗАБЫТАЯ ТЕНЬ

Суровый Дант, изгнанник флорентийский
Встает из сумрака времен средневековых
И песни у него, как те века.
Он их нашел в лесу мистическом и темном
Средь хаоса причудливых видений.
Чей дух отважился б за ним итти, скитаться
По той дубраве, как бы там меж терний
Цветы, красуясь, вечно ни цвели?
Собрал певец искусною рукою
Все те цветы и сплел из них венок,
Росой его небесною обрызгал
И положил на раннюю могилу
Прекрасной Беатриче Портинари,
Что раз ему когда-то улыбнулась,
А во второй прошла и даже не взглянула,
А в третий раз он видел Беатриче,
Когда она в гробу лежала неподвижно.
Она ему была как будто солнце,
Что свет и радости, и жизнь дает,
Не ведая, кого дарами дарит.
И хоть зашло то ласковое солнце,
Он не забыл его ни в сумраке угрюмом,
Ни у домашнего огня в приветном свете,

Ни на земле, в аду или в раю
Он не забыл прекрасной Беатриче.
Она одна живет в его напевах,
Ведь в том краю, где Данте жил душою,
Иной жены себе он не нашел.
Такими он ее венчал цветами славы,
Какими ни одна из женщин не гордилась.

Вовек бессмертны Данте с Беатриче,
И даже смерть не разлучила их.
Зачем же ты, мое воображенье,
Рисуешь предо мной такой убогий образ,
Как будто сон томительный, неясный?
Нет ни венца на ней, ни ореола,
Ее лицо покрыто покрывалом,
Как бы густым туманом. Кто она?
Ведь ни один певец ее не славил,
Художник ни один не рисовал;
Лежит на дне истории глубоко
О ней воспоминанье. Кто она?
То Дантова жена. Нам не осталось
Другого имени, как будто вовсе
Ей собственного имени не дали.
И не была она звездой путеводной,
Лишь тенью верной шла она за тем,
Кто был поводом «Италии несчастной».

Она делила с ним изгнанья черствый хлеб,
Она огонь веселый разжигала
Ему в чужом жилище. И не раз

Его рука, ища себе опоры,
Ей на плечо с надеждой опиралась.
Ей дорога была поэта слава,
Но рук она не протянула к ней,
Затем, чтоб уловить хоть луч единый.
Когда погас огонь в очах поэта,
Она их набожной рукой своей закрыла.
Тень верная! А где ж ее судьба,
Где собственная доля, радость, горе?
История молчит, и в грусти вижу я
Всю горечь дней далеких, одиноких,
В тревожном проведенных ожиданьи,
Ночей бессонных, темных, как забота,
И долгих, как нужда, я вижу слезы ...
По тем слезам, как по росе жемчужной,
Прошла дорогой славы — Беатриче!

1898

СФИНКС

Давным - давно под солнцем полуденным,
Среди немой пустыни беспредельной
И безысходно - мертвого простора
В душе раба, что в злой неволе вырос,
Вдруг родилась мечта и овладела
Своим творцом уверенно и сильно,
Сильней, чем власть могучих фараонов,
И принести ему велела камень
С горячих скал из Ливии пустынной
И вытесать из камня изваянье,
Загадку вечную векам грядущим.
И начал раб тесать горячий камень,
И все вокруг пылало в час творенья:
И небо, и земля, и камень, и резец,
И сердце мастера, и огненной золою
Из - под резца летели прочь осколки,
И, наконец, над знойными песками
Творенье встало, как живое чудо, —
То тело льва лениво распростерлось,
Как бы жарой придавленное в полдень,
И человечья голова загадкой
Вздыхалась гордо и смотрела просто
Окаменевшим взглядом пред собою,
А на губах была улыбка злая.

Взгляд и улыбка были всем страшнее
Убийственного солнца над пустыней.
И то созданье людям стало богом,
Ему веками возводились храмы
С колоннами, и жертву приносили
Украшенные лотосами плечи,
О нем слагали смутные легенды,
Густым кровавым крашенные цветом,
И пели песни в честь его поэты,
И пирамиды книг нагромождали
Ученые, чтоб разгадать загадку
Очей таинственных и злобных уст,
А в книгах имена перечислялись
Того созданья: Солнце, Правда, Счастье,
Жизнь и Любовь и многие другие;
Но лучше всех пристало слово Сфинкс,
Таинственное, как само созданье.

1900

РА - МЕНЕИС

Дочь фараонова Ра - Менеис была гордой царицей,
Так хороша и страшна, как Урея, змея золотая,
Что обвивала собою венец двух Египтов,
Как из алмаза, чело ее было, а очи
из темных рубинов.
Нравом царица была, словно Нила коварные воды,
Что вытекают из тайных ключей, никому
неизвестных;
Власть у царицы была, словно Африки
знойное солнце,
Как могучий самум, что руины и те засыпает.
Весь Египет стонал, как могучий колосс
над пустыней,
Тяжкую власть пронося царственной Ра - Менеис;
Он порой шевелился как лев, что цепями закован,
Глухо рычал иногда, как подземный огонь,
Крепко придавленный гнетом горы каменистой;
Стоило ж только народу увидеть царицу
С гордым, как будто алмазным челом,
и как только
В темных карих очах начинали искриться рубины,
Мигом лев тот народный царице к ногам
припадал,

С улыбкою сфинкса царица ему наступала
на шею.

Ра - Менеис даже в храме хотела быть
равной с богами.

Изваянья богинь по ее создавались подобью,
И мастера поселили возле Египта в Пустыне
Толпы колоссов, похожих на гордую Ра - Менеис.
И не осталось единой струны на египетских
арфах,

Что не звучала б хвалой полновластной
царице Египта.

Строила Ра - Менеис для себя пирамиду
в пустыне, —

Больше легло там людей, чем камней
раскаленных под солнцем.

Но не успела еще заостриться вверху пирамида,
Как над Египтом осталось одно только
солнце на небе :

Ра - Менеис на пурпурное ложе легла
и не встала.

Тихо лежала царица в свивальниках, полных
бальзама,

С бледным лицом золотистым, как будто
из кости слоновой,

А над челом, как и прежде, сияла корона,
Двух Египтов венец и змея золотая Урея...

Ра - Менеис положили в высокую красную
барку, —

И понесли ее, тихо качая, все дальше и дальше
Мутные воды священного желтого Нила.

В белых одеждах жрецы на серебряных
систрах играли,

Черные женщины, плачем великим рыдая,
Платья свои разрывали и ранили тело до крови;
Красные капли густые падали в желтую воду;
Арфы печально рыдали, египтянки

жалобно пели,

Лотоса цвет голубой к земле, увядая, склонялся.
И плыла эта красная барка, как солнце, на запад.
Только ж на берег песчаный, где были
видны издалека

Царские горы - могилы, вынесли тело царицы,
Встал на дороге народ. Видел лев,
что разорваны цепи.

Белых жрецов разогнал, утопил чернокожих
невольниц,

Лотоса цвет растоптал и предал сожжению барку,
Тело царицы забросил далеко в пустыню,
в пески, —

Год за годом ей вихри могилу сыпучую
там возводили,

Солнце палящий бальзам на умершую дочь
проливало.

Время шло, пронеслись над Египтом века
за веками.

Уж могилы царей превращаться в развалины
стали,

Уж царей имена предавались в народе забвенью,

Разрушать стали руки безбожных гробницы
и храмы,
И как только рука, или воздух, или солнце
касались
Тысячелетнего трупа, он, словно пыль,
рассыпался.
И смеялись потомки тогда, что и мумии
предков не вечны.

Как-то к северу шел караван, чтоб отправить
за море
Драгоценную кладь из руин фараонов забытых.
Саркофаг впереди возвышался пустой

и огромный;
Черный камень на солнце блестел,
как горящая бронза,
Еле двигали десять верблюдов тот груз
накаленный.

Вдруг человек, погонявший верблюдов,
споткнулся,

Вниз посмотрел и отпрыгнул, ужаленный страхом:
Он голову змеи у себя под ногами увидел,
И в глазах его красные искры пылали на солнце.

„Ля Иллыга! — сказал ему шейх каравана, —
Не пугайся ее: правоверным она неопасна.
Видишь, она золотая, глаза у нее из рубинов“.

Стал поднимать он руками с земли ту змею
золотую,
Но неожиданно вслед за змеей поднялась
над песками,

С мертвым лицом и с двойною короной Египта,
Ра-Менеис поднялась, нетленная в смерти царица.
И казалось, что взгляд ее тайный скрывают
недвижные веки,

И злая улыбка дрожит на устах ее бледных.
И застыли погонщики перед нетленной царицей.
Только шейх правоверный остался, как прежде,
спокоен,

Не боялся он женщин вовек, ни живых
и ни мертвых,
Только привык он расценивать их на базарах.

„Нет цены в нашем крае, — подумал он, —
женщине этой,
Только безумные джавры заплатят безумные
деньги“, —

И приказал ту царицу с песка он поднять
осторожно,
Положить в саркофаг и не грабить камней
самоцветных.

Царским ложем гробница тяжелая стала казаться,
Чуть заблестала над нею змея золотая Урея.
Но опустилась со скрежетом крышка из камня,
Скрылась навеки царица от ясного солнца
пустыни.

Дальше песками сыпучими к морю пошел караван.
Без приключений он прибыл в город
приморский и людный.

Шейх не ошибся в расчетах, — и вправду
безумные джавры
Деньги безумные дали за мертвое тело царицы

ЗАЧЕМ Я НЕ МОГУ...

Зачем я не могу взлететь к высотам,
Туда, к вершинам ясным, золотым,
Где тучка белая озарена луною.
Я видела, как тучка та рождалась,
Как из потока громкого возникла
Туманом белым, чуть заметным паром,
Как поплыла неслышно над водою
Глубокими оврагами, все выше,
И тихо обнялась, с трудом как будто,
И устремилась вверх. Она цеплялась
За зеленеющие гребни сосен;
За шалаши пастушьи, там, на склонах,
Как человек, что, силы напрягая,
Взойти стремится на гору. И вышла,
И улыбнулась месяцу с вершины
И так стояла девушкой светлой,—
И засияла, легкой и прозрачной,
Как ясная мечта. Кто в ней узнает
Ту влажную безрадостную тучу,
Что двигалась так тяжело по долине?..

Ой, горы, горы, золотые кручи!
И отчего я к вам так порываюсь,

И отчего люблю вас так печально?
Ужели мне не суждено подняться
На ваши заповедные высоты?
Когда мне крепких крыльев не дано,
Чтоб я могла туда взлететь орлицей,
Туда, на величайшие вершины,—
То жажду я пролить потоки слез,
Горячих слез, безудержных, внезапных,
Что рвутся из глубин сокрытых сердца
Источником живительной воды.
Пускай из них душа моя восстала б
И с мукою тяжелой устремилась
На те вершины, что сияют вечно
И кажутся глазам издалека
Таковыми неприступными, как горы,
К которым я взлетаю лишь мечтою.
Тогда, быть может, дух мой, словно тучка,
На высоте внезапно изменился б,
Нагорным, чистым светом озаренный.

Повсюду плач, слеза, стенанья,
 Призыв несмелый и глухой,
 На рок пустые нареканья
 И преклоненье пред тоской.

Над старым горем Украины
 Жалеем - тужим каждый час
 И со слезами ждем години,
 Когда спадут оковы с нас.

Те слезы разъедают раны,
 Зажить им долго не дают,
 От слез ржавеют цепи рано,
 Но сами цепи не падут!

К чему напрасная скорбота?
 На прежний путь возврата нет!
 Возьмемся лучше за работу,
 Добудем новой жизни свет!

Чует рыцарь среди боя,
 Что он в грудь смертельно ранен,
 Стиснул панцырь он рукою,
 Чтобы кровь не вытекала.

Видит с башни дама сердца:
 Побледнел ее любимый,
 Сжал он грудь свою рукою,—
 И к нему послала паж.

„Господин мой рыцарь, просят
 Вас покинуть бой кровавый
 Хоть не надолго, покуда
 Вашу рану перевяжут.“

Есть и мягкие повязки,
 Есть бальзам у нас целебный,
 Белая постель на башне
 Уж давно для вас готова“.

„Милый паж! спасибо даме,
 Что тебя ко мне прислала,

Только я на приглашенье
К ней притти уже не в силах.

Если б я хоть на минуту
Сбросил свой железный панцырь,
Кровь бы полилась потоком,
Жизнь моя бы прекратилась.

Знай, что есть такие раны,
От которых нет бальзама,
От которых нет повязок,
Кроме панцырей железных“.

„Господин, слова такие
Ранят сердце нежной дамы“.
„Если есть у дамы сердце,
Пусть его сожмет покрепче ...“

1901

ДЫМ

„И дым отечества, как он ни горек,
Нам сладок и приятен“... Не однажды
Я повторила старые слова,
В Италию далекую собираясь.
И виделись мне дальние селенья:
Идут девчата с песнями с полей,
Хлопочут неусыпные хозяйки,
В полях стада встречая и отары.
Крестьяне возвращаются с работы,
Не прибавляя шагу, и степенно,
Украдкой посмотрят на дымок,
Что стелется над низенькой трубою,
И говорят: „Вот время и вечерять“.
И виделись мне росные поляны
Волыни. Вдалеке чернеет лес
Стеной зубчатой, и на лес туманы
Беззвучным тихим морем наплывают, —
Поберегись, кто в чаще или в поле! —
Предательски крадется лихорадка.
Но кто в лесу ночует, не боится
И с песней поспешает на дымок:
Товарищи костер раздули знатный,
Там сухо и тепло, и роем искры

Во мгле танцуют — золотые пчелы.
— Путь держим на дымок!..

Мне было странно,
Что в итальянских селах мало дыма,
Но для „поленты“ печи не нужны.
Видала я поля стручков „ризацци“,
Где невидимкой малярия вьется,
Не пуганная дымом иль огнем,—
И думалось мне: вот она, чужбина,
Под мерный стук курьерского состава.
... Туннель! И сразу дым влетел в окно,
Удушливый и горький дым чужбины,
Как будто итальянский уголь гадок,—
Так не душил и дым в курной лачуге.
Бывало, так друзья в Полесьи пели,
Что откликалась и звенела хата,
Не хрипло, а согласно, несмотря
На то, что головы угар закутал.
Там дым слезил глаза, но по-другому:
Он был древесным и еще — родным ...

Сампьердарена близко. Слава богу!
Уж скоро Генуя, а там и отдых.
Там будет море, голубое небо
И древний город, гордая краса
Отважного и вольного народа.
... Вот наша Генуя!..— и старичок
Показывает мне в окно куда-то.
Смотрю я — и не вижу. Все — во мгле.
— Почтеннейший, здесь часто из-за моря

Туман встает? — спросила я синьора.
— Туман? Да это не туман, а дым —
Он тут всегда. Смотрите, и не диво! —
Смотрю: вокруг высокие, как мачты,
Маячат рядом с гаванью огромной
Заводских труб немые очертанья.
Их сотни, — целый лес! — Богатство наше
Здесь копится, — хвалился мой синьор.
Но не прозрачны эти стены фабрик,
И не сверкало в окнах то богатство,
Там только гуще скапливался сумрак.
И вспомнился мне наш приморский город,
Не итальянский, — и другой, и третий ...
И вспомнился мне город над рекою
Великою и гулкой от порогов,
Как рейнская стремнина, где колеса
Глушат гуденье синих водопадов.
И вспомнились мне села и поля
Кудрявой свекловицы ... И над всем
Торчали высоченных труб леса,
Подобно горным соснам, но без хвои.

Мы мчались мимо пригородов. Мрачно
Там высились задымленные зданья,
Угрюмые, убогие. Вползала
По камню грязь, и нищета впивалась, —
Ничем ее не вытравишь из щелей.
Из тусклых окон призраки смотрели —
Рабов каких-то испитые лица ...
И надо всем стоял тот легкий дым,

Что глаз не выест, не задушит сразу,
А только ясность неба застилает
И солнца луч крадет у человека,
Пьет кровь с лица, и обедняет зренье,
И обволакивает пестрый мир туманом.
Никто его не чувствует, но вечно,
И днем и ночью, каждую минуту
Беззвучно, но отчетливо и ясно
Он говорит: я тут, я вечно тут.
И этот дым проник мне прямо в сердце,
И стиснулось оно и онемело
И больше не сказало: вот чужбина.

1903

НАДПИСЬ НА РУИНЕ

„Я, царь царей, я, солнца сын могучий,
Гробницу эту выстроил себе,
Чтоб прославляли многие народы,
Чтоб помнили во всех веках грядущих,
Чтоб знали имя“... Дальше сбита надпись,
И даже самый мудрый из потомков
То имя царское прочесть не может.
Кто сбил ту надпись — иль соперник царь,
Иль просто время мощною рукою, —
Никто не знает. Росписью узорной
Под нею слов начертано немало
Про славу безымянного владыки
И царские показаны деянья:
Вот царь сидит высоко на престоле,
Народы покоренные с дарами
К нему идут, склоняя долу лица,
А он сидит, как истукан гранитный,
Над ним цветные перья опахал.
Лицо его похоже на Тутмеса
И на Рамзеса, и на всех тиранов.
Вот ухватил он за волосы сразу,
Одной рукою, несколько повстанцев, —
И меч кривой над ними он занес.

Лицо его похоже на Тарака,
На Мёнефта, как и на всех тиранов.
С лицом все тем же львов он убивает,
Левиафанов ловит, губит птиц,
Полями едет по телам убитых,
И веселится по своим гаремам,
И подданных на битву угоняет,
И мучит он работой свой народ,
Той страшною египетской работой,
Что имя царское должна прославить.

Народ идет, как волны в океане,
Без краю, без числа на поле битвы
И стелется под ноги кобням царским,
А кто в живых из тех людей остался,
Тот гибнет на египетской работе:
Царь хочет для себя на их могилах
Построить памятник — да сгинет раб!
И раб копает землю, тешет камень,
Кирпич для стройки делает из глины,
Возводит стены, статуи большие,
Сам на себе, запрягшись, возит, строит
И создает великое навеки,
Прекрасное творит неповторимо —
Резьбу, картины, статуи, узоры,
И каждая колонна и картина,
Резьба и статуя, кирпич из глины
Незримыми устами произносят:
„Меня творил египетский народ“.

И умер этот царь с лицом тирана,
И от него осталась только надпись.
Певцы! не думайте, ученые! не надо
Искать царя исчезнувшее имя:
Судьбою создан из его могилы
Народу памятник — да сгинет царь!

ДЫХАНИЕ ПУСТЫНИ

Пустыня дышит. Вздок протяжный, вольный,
Горячий он и чистый, как святой.
Песок лежит недвижный, золотой,
Оставленный Хамсином своевольным.

Феллах всю жизнь — в работе подневольной.
Он строит дом — там будет жить пустой
Летучий рой туристов, и густой
Вокруг разросся сад в красе раздольной.

Феллах могуч. Оазисы в пустыне
Он для других возвел ... И вот он пишет
Узоры по карнизу. И колышет
Одежду ветер ... И на миг застынет,
Обсушит пот ... И дальше по равнине
Промчится ... Вновь и вновь ... Пустыня дышит.

1904

ДОЧЬ НЕФАЯ

Ты отпусти меня, отец мой, в горы,
Где ряст весенний золотом пылает,
Где осыпает ветер цвет миндальный, —
Пусть он меня дождем своим обрызжет,
Оплачет цветом молодость мою.

Ведь говорят, что с гор весь край наш виден, —
Пусть я в последний раз увижу больше,
Чем видела за весь свой век короткий,
Пусть к солнцу ясному я стану ближе,
Скажу ему: веселое, прощай!

Ты отпусти меня, отец мой, в горы.
Всех соберу подруг я, всех любимых,
Во век еще я так их не любила,
Как вот теперь, в последний час предсмертный.
Мы не слезами, — песнями своими
Веселое девичество помянем.

Я все мечты отдам цветам весенним,
А ветру — всю девическую волю,
Как лепестки осыплются желанья,
По свету думы с песнями пушу.

Пускай земля сырая мной владеет,—
Отдай меня тому, кому обреч,—
А то, что будет на горах пропето,
Оставляю ветру,
солнцу и весне.

Кровь канет в землю, песня ж разольется.
Ты отпусти меня, отец мой, в горы!
Не бойся ты, что не приду обратно,
Что уж не в силах буду я покинуть
Веселую и радостную жизнь.
Нет! С гор приду я тихой и покорной,

На камень жертвенный цветком склонюсь я.
Ведь знаю я, хотя б сто лет жила,
Такой бы я уж песни не запела,
Такой бы жизни больше я не знала,
Как в час прощанья на горе высокой,
Так дай же мне, отец мой, этот час!

Ты отпусти меня, отец мой, в горы.
Коль хочешь ты, чтоб дочь твоя отважно
Пошла на преждевременную муку,
Очей в слезах к горам не обращала,
И с солнцем не прощалась бы рыдая,
Тебя, людей и бога не кляла!

1904

СЛУЧИЛОСЬ ЭТО В ДНИ...

Случилось это в дни святейшей Германдады.
Ввели еретика монахи - палачи
К столу судилища, пред очи Торквемады.
Преданье говорит, что было там в ночи.

Сначала мученик молчал, и только слезы
По неподвижному лицу текли ручьем.
Молчал при розыске, молчал на все угрозы,
Вдруг застонал, и вновь был схвачен палачом.

И вскрикнул... „Вот оно — раскаянья начало,—
Сказал палач, великий сердцевед,—
Железом и огнем добьемся, чтоб кричала
Истерзанная плоть, найдем змеиный след.

Пытать его еще!“—И вновь его пытали
Неслышанно,—нет слов для тех когтей и лап.
Казалось, камни стен от страха трепетали.
Молились чернецы, чтоб мученик ослаб.

Но мученик был тверд. И чернецам на диво
Улыбку выдавили бледные уста,

Потухшие глаза опять сверкнули живо,
И мученик сказал: „Молю, ради Христа,

Раздуйте ваш огонь, в огне моя отрада,
Трудитесь, палачи, сжигайте мясо мне!“
„Сжечь на костре! — скрепил решенье

Торквемада, —

Надежды больше нет. Он верен сатане!“

1905

НА ГОДОВЩИНУ

Не он один ее любил,
Давно уж Украину
Поэты славили в стихах,
Как милую девчину.

Все у нее черпали смех,
Поверья, шутки, пляски,
И заплетали, как венки,
Подслушанные сказки.

Тот в ней бывшее полюбил,
Тот грезу молодую, —
Он первый полюбил ее,
Как любят мать родную.

Хотя б и в старости была,
Печальная, больная, —
Для сына верного она —
Единственно родная.

Хотя была б она слепа,
И скорбна и убога, —

Как рана, пламенеет в нем
Любовь большая строго.

Влюбленных в Украину — тьма,
Они в минутном хмеле
Под вечер забывали всё,
О чем ей утром пели.

И взяв ее дары, к другой
В салон бежали прямо;
Они не знали, что любить —
Так до могилы самой.

Он первый за свою любовь
Изведал цепи рано,
Но он служил ей до конца
Без кривды и обмана.

Все победила и снесла
Любви сыновней сила.
Того великого огня
И смерть не погасила.

1911

НА СТОЯНКЕ

На помосте корабельном
Запылал костер высокий,
То согреть хотят матросы
Коченеющие руки.

И я вижу: в снежной вьюге
Пламя красное пылает,
Словно солнце, что закрыто
Непроглядной белой мглой.

А вокруг него чернеют,
Словно тени птиц огромных,
Итальянские матросы,
Зябко кутаясь в плащи.

Те плащи в родном Палермо
Их неплохо согревали, —
Что ж теперь случилось с ними
В этом крае басурманском?

Пропускают зимний ветер,
Словно кружева сквозные,

И дрожит любая жилка ...
О, негодные плащи!

В густо-белой сетке снега
Служка мальчик пробегает,
Словно рыбка, что попала
В роковой проклятый невод.

Мальчик пробует согреться,
В жилах кровь его не стынет,
В кровь палермскую он верит
Больше, чем в чужой огонь.

Он не слышит, как большие
На него ворчат сердито:
„Все ты вертисься, бездельник!..
Что за скверное созданье!“

От озлобленного крика
Нежный говор итальянский
Стал противным, как прибрежных
Диких чаек хищный крик.

Пусть ворчат,— давно привык он
К этим чайкам и ворчанью,
Он не думает об этом,
И в мечтах его другое:

Скоро он домой вернется
И на площади, под солнцем,

Ловко он сыграет в бабки,
Каждый выигрыш возьмет.

И с приятелями вместе
В пыль горячую он ляжет
Среди улицы, так просто,
И начнет болтать, болтать ...

Даже рты поразевают
Кекко, Жанны, Паолино,
Ведь они всему поверят,
Племя „раков сухопутных“!

Сколько он чудес расскажет!
И про змеев про подводных,
И про турок-людоедов,
Про Великого Могола.

А они ему за это
Много сладких апельсинов
Непременно наворуют
У епископа в саду ...

Тут его матрос ударил
По плечу, ругнув сердито:
„Да уйдешь ли ты с дороги?
Вот душа без покаянья!“

У костра с другими рядом
Опустился он покорно

И к огню, как на молитве,
Протянул худые руки.

Легкий стан тихонько сгорбил
И застыл с лицом печальным,
Лишь в глазах перебегают
Ярко - огненные искры.

Ох, когда б скорее, мальчик,
Те мечты твои свершились,
И на них ведь посягает
Злой какой - нибудь божок!..

1911

ИТАЛЬЯНСКАЯ НАРОДНАЯ ПЕСНЯ

(ПЕРЕПЕВ)

Тебя не вижу, хоть окно и низко.
Неласковая! Гибну я от гнета.
Свечой пылает сердце, если близко
По имени тебя окликнет кто - то.

Ах, гордая, на снег взгляни ты ныне, —
Холодный снег и тот дается в руки,
А ты меня измучила гордыней,
Когда ж спасешь от этой тяжелой муки?

Хотел бы стать красавцем незнакомым,
Ведро с водой тогда мне пригодится,
По городу кричал бы до истомы:
„Красавицы, вот чистая водица!“

Спросила б, может, гордая, родная:
„Кто тот красавец, что разносит воду?“
Я б скромно отвечал, смилив природу:
„То слезы страсти — не вода простая!“

Содержание

Взгляд на народную песню
История ее в Италии
Содержание ее

Такая же была, кто знал и знает
Итальянская песня в старину
Своей формой, содержанием
И своим характером

А в городе на свет явился ты
Холодная синея к голубому в поле
А ты меня научила говорить
Почти и совершенно от этой песни

Кто-то бы считал песеню
Песня в родной земле
Но ты говоришь о ней
"Красивая, вот такая песня"

Спросишь же, может, городок
Как ты рассказываешь, что происходит
И в каждом отделе, каждая песня
То есть, каждая — на свой лад

Поэмы

Содержание
История
Содержание

Такая же была, кто знал и знает
Итальянская песня в старину
Своей формой, содержанием
И своим характером

А в городе на свет явился ты
Холодная синея к голубому в поле
А ты меня научила говорить
Почти и совершенно от этой песни

Кто-то бы считал песеню
Песня в родной земле
Но ты говоришь о ней
"Красивая, вот такая песня"

Спросишь же, может, городок
Как ты рассказываешь, что происходит
И в каждом отделе, каждая песня
То есть, каждая — на свой лад

ИЗОЛЬДА БЕЛОРУКАЯ¹

1

Тристан, в лесу блуждая,
Ловил зеленый шум,
Хотел ему поведать
Тоску любовных дум.

Качает ли березу
Приветный ветерок,—
Он тотчас вспоминает
Изольды голосок.

Проглянут ли сквозь ветки,
Синея, небеса,—

¹ Основание этой поэмы взято из средневекового романа „Тристан и Изольда“, который был широко распространен во многих вариантах, на разных языках, во всех европейских — в том числе и славянских — странах. Содержание романа — роковая и несчастная любовь рыцаря-вассала к королеве. Любовь возникает внезапно — от волшебного любовного напитка. В некоторых вариантах упоминается также и вторая Изольда — Изольда Белорукая, которую Тристан любил во время разлуки с первой. (Примечание Л. Украинки.)

Он вспоминает грустно
Изольдины глаза.

В отчаяньи из чаши
Выходит он,— и вот
Над рожью золотою
Звенящий зной плывет.

И он о Златокудрой
Изольде вспомнил вновь,
Упал в траву и плачет —
О, горькая любовь!

Пришла с серпом девица,
Свою между нашла,
Услышала рыданье
И ближе подошла.

Судьбиной необорной
Была ее краса
И черною печалью
Была ее коса.

Был сумрачен и грустен
Ее горящий взгляд,
Забудет рай небесный,
Кто взглянет в этот ад.

А голос — будто скрипка,
Полуночной порой

Скликающая к танцу
Из гроба — мертвых рой.

И вывела Тристана
Она из темных грез
Движеньем рук лилейных,
Умильным током слез.

Спросил он: „Как зовешься,
Скажи, коль тайны нет!“
„Изольдой Белорукой“, —
Он услышал ответ.

„Единственное имя
В юдоли и в раю!
Изольда, ах, Изольда!
Прими любовь мою“.

„Так нежно меня ты ласкал,
Возлюбленный милый,
Так в очи печально смотрел,
Что сердце томило.

Ты губы мои целовал
И белые руки,
И на косы слезы текли
От счастья и муки.

Шептал так недавно еще
Ты пылко и страстно,
Зачем же, зачем же ты глух
На зов мой напрасный?"

"Изольда, Изольда моя!
В очах твоих черных
Хотел бы я видеть лазурь
Обителей горных.

Изольда, Изольда моя!
Когда бы волною
Твоя золотилась коса,
Как поле ржаное!

Твой голос, Изольда моя,
Порывист, мятежен.
Когда б он, как шелест берез,
Был ласков и нежен!"

"Не стоит о том горевать
И плакать Тристану!
У матери крестной я все,
Что хочешь, достану.

Моргана ведь крестная мне,
Поможет мне фея..."
"Беги же, Изольда, беги
К Моргане скорее!"

"Ах, крестная фея Моргана,
Красу переделай мою!
Хочу быть бела и прозрачна,
Как ангелы в божьем раю".

"Нет, крестница, дочка Изольда!
Я прелесть твою создала,
Еще в колыбели младенцу
Подарок живой принесла.

Красы твоей гордой, Изольда,
Никто на земле не корит..."

"Грустна и темна моя прелесть,—
Возлюбленный так говорит.

Дай золота мне и лазури,—
Хочу быть светла и ясна,
Чтоб милый смотрел, улыбаясь,
Как весело блещет весна".

"Ну что ж, моя дочка Изольда!
У солнца ведь золото есть.
Морскую попросим русалку
Осколок лазури принесть".

"Позволь еще, крестная фея,
Чтоб нежен был мой голосок,
Чтоб милый заслушался песен,
От них оторваться не мог".

„Нежнее, чем листья березы,
Волшебная прялка шумит,
И каждый в той прялке услышит,
Что сердце людское томит.

Что хочешь, любимая дочка,
Тебе измененным даю.
Одно изменить я не в силах —
Не трону я душу твою“.

4

Опять в ночном лесу Тристан
Сам друг с бывалой мукой.
И ждет он будто и не ждет
Изольды Белорукой.

Вспорхнула пташка ли в кустах
Иль ветер был в то утро, —
Внезапно встретился Тристан
С Изольдой Златокудрой.

Все те же очи и коса
И тот же голос милый,
Душа Тристана в небеса,
Ликуя, воспарила.

„Привет, единая моя!
Привет, моя царица!

86

Из-за моря ли приплыла
Сегодня, чаровница?

Как отпустил тебя одну
Твой муж, король проклятый?
Иль для Тристана своего
Убить его смогла ты?

Но где же кубок золотой,
Где зелье колдовское?
Охотно выпью все до дна,
Не надо мне покоя!

Напиток нам зальет печаль,
Рожденную разлукой“.
„Тристан! Или не помнишь ты
Изольды Белорукой?“

„Она забыта навсегда,
Как тень минувшей ночи“.
„А что, Тристан, когда она
Забить тебя не хочет?“

„Пускай идет в Ерусалим
Босой, простоволосой!
Теперь я встретился с тобой,
С Изольдой Златокосой!“

„Тяжки грехи твои, Тристан,
Их тьма неумолима!

87

Ты им прощенья не найдешь
В стенах Ерусалима“.

„С тобой, любимая, готов
Итти на смерть и муки!“

„Тристан, довольно праздных слов,
Смотри на эти руки!

Ты помнишь ли, кого послал
Сегодня в грот Морганы?
Куда теперь меня пошлешь
С моей сердечной раной?

Пускай исчезла тьма очей,
Зато душа темнее,
Там черный камень твой лежит,
Мне не расстаться с нею —

Пускай же вновь моя коса
Цвет траурный оденет.
Пускай же мне печальный цвет
До гроба не изменит“.

5

Тристан как ребенок ослаб,
На сердце кручина.
Ему не помогут теперя
Все чары Мерлина.

88

И фея Урганда ему
Промолвила мудро:
„Изольде тебя излечить,—
Одной — Златокудрой.

От смерти она отвратит,
Спасет от недуга“.
Он слышит и за море шлет
Любимого друга.

И другу дает он наказ:
„Воротись с милой,—
Тогда оснасти свой корабль
Ты белым ветрилом.

А если вернешься один,—
Будь с парусом черным.
Он саваном будет моим
В пути необорном“.

6

„Ступай же, Белорукая, на берег,
Прошу тебя, молю тебя, иди!
Там есть утес, высокая стремнина,
Взойди на кручу, в море погляди,

Где ветер гонит северные волны...
Вернись обратно и поведай мне,

89

Не плещутся ли белые ветрила
За синей далью, на седой волне? "

И молча Белорукая Изольда
Взошла на кручу и глядит в туман ...
Ах, что белеет, — парус ли далекий
Иль только гребня пенного обман.

Она вернулась, и спросил он жадно:
„Что там вдали, видны ли паруса?
Маячит ли тот парус на просторе?
Он бел? “ — „Он черен, как моя коса“.

И вмиг душа Тристана обрывает
Нить ожидания, горя не тая,
И легкокрылой птицею несется
Далеко, в неизвестные края.

„Ступай же, Златокудрая Изольда!
Тебя давно Тристан твой верный ждет.
Меж острых скал не бойся заблудиться:
Изольда белорукая ведет.

По имени с тобою мы как сестры.
Ты — утро, я — вечерняя заря.
Не диво, что сегодня довелось нам
Сплестись, печальным заревом горя.

И у меня на краткое мгновенье
Ничем не омраченный был рассвет“.

„Сестра! Твой тихий голос мне отраден, —
Так правда — моего Тристана нет? “

„Бог судит, Златокудрая Изольда,
Чей был Тристан — твой милый или мой.
Но в смертный час быть около Тристана
Досталось не тебе, а мне одной.

Не подняла ты черного ветрила,
Не траурна, светла твоя краса.
Но милый в гроб не ляжет непокрытым:
Его покроет черная коса“.

ВИЛА ПОСЕСТРА¹

Боже, то не дивное ли диво?
Не нашел юнак² с кем побрататься,
меж юнцов не встретил побратима,
не нашел меж девушек посестры.
Вилу белую в горах он встретил,
вилу белую с волшебным взглядом,
обменялся с нею перначами³,
белое лицо поцеловал ей,
сжал ей руку и назвал: „Посестра!“
„Побратим!“ — она ему сказала,
и они помчались вместе в горы.
Едут рядом по горе зеленой,
и промолвил побратим посестре:
„Вила, вила, милая посестра,
Видишь ли, что там внизу чернеет?“

¹ Вила — мифическое существо в сербских народных песнях и думах; в представлении сербов она необыкновенно красива, доброжелательна, имеет прекрасный голос, живет в горах.

² Юнак — участник сербских восстаний против турецкой власти, герой сербских народных песен.

³ Пернач — жезл из металлических плиток (называвшихся перьями), оружие или знак власти у военных начальников.

Воронье ли черное слетелось,
или гору турки обступили?“
„То не воронье внизу чернеет,
это турки гору осаждают,
осаждают, тучей окружают.
Скоро к нам со всех сторон подступят“.
„Вила, вила, милая посестра,
убегай, пока жива, отсюда.
У тебя крылатый конь волшебный;
как взовьется, — не догнать и туркам
на своих арабских иноходцах“.
„Милый побратим, побойся бога!
Что за слово ты сейчас промолвил?
Разве я затем с тобой браталась,
чтобы стать изменницей позорно?
Хочешь — убежим с тобою вместе,
сильный конь нас вынесет обоих“.
Гордо молвил побратим на это:
„Рыцарю бежать не подобает“.
Ничего тут вила не сказала,
буйные коню связала крылья,
чтоб не думал сам он вверх подняться,
а потом поводья вяжет вместе,
чтобы кони врозь не разбежались:
„Это судьбы наши я связала“.
Побратим спрашивает снова:
„Вила, вила, милая посестра,
хоть и разум у тебя волшебный,
но ведь сердце у тебя девичье,—
если нас враги кругом обступят,

как бы ты, сестра, не испугалась!¹
Не сказала вила тут ни слова,
только взгляд загадочный метнула,
словно тот пернач блестящий, острый.
Что-то витязь вновь хотел промолвить,
но кругом их турки обступили,
воронами хищными закаркав,
юнака с посестрою схватили,
на спине хотят связать им руки,
увести в турецкую неволю.
Но глядят они орлиным взором
и врагу в неволю не даются,
хоть и знают, что уж нет спасенья,—
не хотят оружия позорить.
Покарай ты, боже, янычара!¹
Он рассек коню на крыльях пути.
Конь, почуяв крылья на свободе,
как шарахнется, как вверх взовьется,
разорвал шелковые поводья
и взлетел он с вилой к самым тучам.
Проклял тут юнак свою посестру:
„Пусть тебя господь накажет, вила,
братское нарушила ты слово.
Пусть вовеки не узнает счастья
тот, кто побратается с тобою“.
Золотой пернач юнак отбросил,
надвое сломал кривую саблю:

¹ Янычары—турецкая регулярная пехота из пленных, преимущественно христиан, обращенных в ислам еще в детстве.

„Сгинь, оружие, если гибнет верность!..“
Видит вила гибель побратима,
падает с высот стрелой из лука,
да не на гору она упала,
на зеленую сосну в долину,
зацепилась белым покрывалом,
словно тучка, что сплыла с вершины.
Вила саблю острую хватает,
белое срезает покрывало,
будто серна, вверх она взбегает
к своему юнаку-побратиму.

Добегают до поляны горной...
Горе, горе,—ни следа, ни духу,
только вся трава черна от крови.
Смотрит вила: скалы да обрывы,
но какой дорогой скрылись турки
и куда девали побратима?
Жив ли он, или ушел он к богу?

Зарыдала, закричала вила:
„Ой ты, конь, крылатое виденье!
Где ты там под тучами гуляешь?
Загубил ты душу побратима,
помоги же отыскать мне тело!“

Кличет вила и зовет и свищет.
Говорят в долинах люди: „буря!“
Кличет вила, а сама блуждает
по горам, заглядывает в бездны,
побратима своего все ищет.
Помутился с горя вещей разум
и померк в печали взгляд волшебный,—

не узнать в ней прежней вилы белой.
Так не день, не два она блуждала,
выкликала все коня из тучи.

Наконец, тот посвист конь услышал,
прилетел из далей неизвестных
и упал на землю, словно пуля.

Закипело сердце вилы белой:

„Ой ты, конь, изменник ты проклятый,
если бы тебя убить могла я,
все бы мне на сердце легче стало...“

Вещий конь тогда ответил виле:

„Госпожа, не проклинай напрасно!
Если б я тебя не вынес в небо,
оба вы тогда бы в плен попались.
Не на то ты вилой уродилась,
чтоб тебя вязали злые люди“.

Молча вила тут коня седлает,
а в груди змея как будто вьется.
Вещий конь ей говорит словами,
госпожу свою он утешает:

„Госпожа моя, ты не печалься,
не печалься, в горе не вдавайся,
мы найдем с тобою побратима.
Если он живой,—его спасешь ты,
если мертвый,—честно похоронишь,
и не будет среди вас раздора“.

Молча вила на коня садится
и пускает по ветру поводья.
Конь под ней рванулся птицей вещей:
где гора — орлом перелетает,

мечет в бездну взгляд свой соколиный,
по долинам ласточкою вьется,
по - над городом летит совою,
темень огненным пронзает взором.
Так три дня летели и три ночи
и в Стамбуле - граде опустились.
Вила здесь турчанкою оделась,
попросту оделась, как крестьянка;
улицами ходит, площадями,
где идет невольников продажа,—
здесь немало юношей увидишь,
да не встретишь побратима вилы...

У султана белые палаты,
а под ними черные темницы,
там в неволе пленники томятся,
света - солища их глаза не видят.
Только ночь укроет все дороги,
подойдет к стенам темницы вила,
обволакивает все туманом,
насылает крепкий сон на стражу
припадает ухом всюду к стенам,
чтобы хоть единый звук услышать.
Вещий слух у вилы - чародейки,
но молчит темница, как могила.
Лишь на третью ночь посестра слышит —
кто - то тяжело застонал в темнице:
„Покарай, господь, посестру вилу!“
Как услышала те стоны вила:
„Горе мне! То голос побратима!“
Поясной кинжал снимает вила,

в стену бьет и твердый камень рушит,
пробивает узенькую щелку,
подает свой голос побратиму:

„Не кляни меня, любимый брат мой,
вспомни бога со святым Иваном.

Я тебе не изменила, милый,
предал нас обоих конь крылатый.
Враг ему рассек на крыльях пути —
конь взлетел со мною к самой туче.
Видит бог — того я не хотела.

Вот стою я здесь, у стен темницы,
я пришла к тебе сюда на помощь“.

Отозвался юный витязь виле:

„Что ж, спасибо, милая посестра,
что пришла сюда ко мне на помощь.
Только жалко — поздно спохватилась,
долго ж ты для турок наряжалась“.

Облилось тут кровью сердце вилы:

„Побратим, не гневайся напрасно.
Если б ты меня сейчас увидел,
не сказал бы — вила наряжалась...“

Кротко виле побратим промолвил:

„Что ж, давай помиримся, посестра,
что прошло, того уж не воротить,
а меня спасать ты не пытайся.
Вот, спасибо — щелку прорубила,
хоть увижу светлый луч в темнице,
до того, как бог наш примет душу.
Если б он ее скорее принял!
Верно, обо мне и смерть забыла...“

И опять ему сказала вила:

„Побратим, к чему слова такие,
о живом живой и думать должен.

Стража спит, на улицах безлюдно.

Я окошко прорублю пошире,
я спущу тебе покров свой белый,
до меня по нем ты доберешься.

Только свистну — мигом конь примчится,
будем мы в горах через минуту“.

Побратим ей снова отозвался,
говорит он, как ножами режет:

„Что прошло, того уж не воротить,
больше нет в горах мне прежней воли.

Тело мне ремнями переело,
а железо кости перегрызло,

а темница очи помутила,
горький стыд повысушил мне сердце,

что сломал я славное оружие

и живой попался в руки туркам.

Не мила и жизнь теперь мне стала
ни в темнице, ни на вольной воле“.

Отвечает вила побратиму,
заклинает побратима богом:

„Я сама спущусь к тебе в темницу,
все же я спасу тебя оттуда.

Лишь бы только нам добраться в горы,
я тебя там вылечу, мой милый,

я недаром вила - чародейка,
залечу тебе любые раны“.

Ничего не отвечает виле

побратим и только словом стонет:
„Жаль трудов твоих, посестра вила.
Не от славных ран я погибаю,
подойди — и все сама увидишь,
и лечить меня ты не захочешь.
Если ты мне верная посестра,
сделай мне последнюю услугу:
ты меня убей чем только хочешь,
было бы оружие почетным,
схорони ты страждущее тело,
чтоб над ним злой враг не издевался.
Если просьбе ты моей откажешь, —
у тебя не дружеское сердце“.

Зарыдала, загрустила вила
и кукушкою закукувала:

„Что сказал ты, побратим любимый?
Подыму ли на тебя я руку?“

Тут невольник обратился к богу:
„Ты за что меня, господь, караешь?
Не дал ты мне, боже, побратима,
а послал в посестры эту вилу.
Вот теперь и помощи не вижу,
слышу только жалобы девицы.
У меня без них не мало горя“.

Уж ни слова не сказала вила,
лишь махнула белым покрывалом.
Молния широкая блеснула,
ослепила всех туредких стражей,
все тюремные спалила двери,
осветила путь посестры к брату.

Только раз на брата посмотрела
вила белая — и сжалось сердце:
перед ней лежал не юный витязь,
а старик седой, как будто голубь,
весь истертый грубыми ремнями,
а из ран просвечивают кости.
Он не встал навстречу виле белой,
только тихо звякнул кандалами.
Вновь махнула вила покрывалом,
осветила ясно всю темницу.
„Вот я здесь, взгляни на вилу, брат мой!“
Отозвался пленник еле слышно:
„Я не вижу — очу помutilись“.

Сжала крепко грудь свою посестра,
чтоб от муки сердце не порвалось,
не могла она промолвить слова,
только еле слышно просвистела,
чтоб к себе коня позвать скорее.
Мигом конь услышал тихий посвист —
он уже в воротах бьет по камню.
На руки взяла посестра брата
и перед собой в седло сажает.
Только не сидит он в нем, как рыцарь,
а дрожит и гнется, как ребенок,
плача и стоная, вилу просит:
„Не носи меня, сестра, высоко.
Сердце ноет, тяжело мне и жутко.
Ох, оставь меня в темнице лучше!“

Тихо-тихо вила отвечает,
как из-под земли выходит голос:

„Побратим, прижмись ко мне покрепче,
поддержу тебя я, ты не бойся“.

Подняла посестра побратима.
Крепко левою рукой прижала,
правой занесла кинжал блестящий
и вонзила так глубоко в сердце,
что сразить он мог две жизни сразу,
если б вила смертной уродилась.
Но осталась жить посестра вила,
только сердце обагрилось кровью.
Конь услышал запах крови жаркой,
взвился вверх он искрою кровавой,
в горы дикие стрелой помчался
и в долине там остановился,
стал копать своим копытом землю,
быстро яму черную он вырыл.
Вила белая с коня тут сходит,
подымает вила побратима,
пеленает белым покрывалом
и кладет на вечный сон в могилу.
Рядом с ним кинжал она хоронит,
чтоб за гробом не был безоружным.
Землю черную полою носит,
высоко могилу насыпает,
и гора уж к небу стала ближе.

Скоронила вила побратима,
на коня вскочила, закричала:
„Ой, неси меня, неси в просторы!
Горе давит! Сердцу в ребрах тесно!“
Конь взлетел высоко, выше тучи,—

госпожу выносит на просторы.
Погребальный гимн заводит вила,—
люди говорят: „То гром весенний“.
Вила слезы горестно роняет,—
люди говорят: „Весенний дождик“.
Над горами радуги сияют,
по долинам оживают реки,
в горных долах травы буйно всходят,
и печаль заоблачная тихо
к нам на землю радостью спадает.

ОДНО СЛОВО

Их было трое здесь чужих людей; теперь их нет. Один тогда же умер, когда приехал. Был он очень слаб, как девушка, и все дышал он жаром и ничего не ел, лишь снег и лед, и умер он. Другой чужой уехал нивесть куда, на родину, быть может, а может дальше, мы не разобрали, что он сказал. А третий здесь остался и долго жил еще один в избе,— иначе не хотел. К нему, бывало, и я, и сын, соседи заходили. Придем к нему — он говорит: „Садитесь“. (Бывало, так по-нашему и скажет — и это слово, и слова другие). И мы садились. Он давал нам чаю, к огню пускал и так нам что-нибудь давал, когда попросим, а случится, что ничего и нет — мы так сидим: он смотрит в книжку, мы все — на него и долго так, пока не станет скучно, а спать в избе не позволял с собою. „Идите,— скажет,— буду спать один,

один останусь“, — и покажет палец один, вот так, один в избе он будет, а кто уйти не хочет, он за плечи возьмет его и выведет за дверь. Не бил, а выводил нас, он ни разу не бил нас. А рассердится, тогда кричал, ногами топал, что-то долго все говорил по-своему, но мы его не понимали. Иногда сердился почему-то наш чужой, его не разберешь... Ну, все ж был добрый, не то, что наш „тойон“¹. Мы говорили: он, может, глупый, потому и добрый. Но разве глупый в книжках понимает? Он знал, откуда и куда идет река, и кто чем болен, кто умрет, кто выздоровеет. Он знал о многом, глупец того не знает. Мы бывало всё спрашивали — умный ли он, все ли у них такие. Он смеялся только, не отвечал, иль не умел ответить, а может, не хотел. Потом он знал, как говорить по-нашему, и наши петь песни научился. Смотрит в книжку, что сделал сам, и песни напевает, как мы когда-то пели, слово в слово. А невод затянуть, капканы ставить не научился он, как ни хотел.

¹ „Тойон“ — так звали раньше на севере каждого начальника.

Мороза он боялся. Редко, редко на холод выходил. Тогда лишь только, когда был всполох виден, выходил он, он любовался им и на морозе,— в их стороне такого не бывает.

В их стороне зимою светит солнце и что-то там растет, чего здесь нет, и что-то есть еще, чего не знаем. Он обо всем хотел нам рассказать, но здесь никак все это не зовется,— сказал „чужой“— не знаем слов таких. Он говорил по-своему слова.

Как звать и то и се я знал тогда, теперь забыл, давно то было, стар я. Тогда еще был молод. И чужой был молодым, а борода большая... Еще пока здоров был, борода была поменьше, а когда стал болен, то выросла она по самый пояс, как будто в сказке... Наши не такие. Он ел и пил, и спал— все, как здоровый. Хоть не болел ничем, а исхудал.

Сначала все лежал, смотрел на стену, ни с кем не говорил и выгонял, когда к нему кто заходил. Потом он сам зашел однажды к нам. И много нам говорил, и песни пел свои, все о таком, чего у нас не встретишь. Мы слушали, потом мы все уснули. Проснулись мы— он плачет. Мы спросили:

„Обидел кто тебя?“— „Никто“,— ответил. Так и пошел, и вновь не возвращался. А мы к „чужому“ часто приходили, когда лежал он. Он уж не был злым, и никого не выгонял, и часто так как-то плакал и смеялся вместе, и все одно какое-то там слово хотел сказать нам, так, чтобы понятным оно нам стало, думал— будет легче, когда расскажет. Мы не разобрали, о чем он говорит, того здесь нет.

Он говорил, что если б то, одно, ему кто дал, то он бы стал здоровым. Мы спрашивали: что это— растение, или еда, одежда, зверь или птица? Сказал, что нет! Отец мой раз спросил: „А если б мать, отец с тобою были, брат, или сестра, или жена— тогда б, наверно, ты здоров был— это их здесь нет,— не их ли так зовут у вас, как не зовется здесь никто“. Подумав, в ответ он головою покачал и говорит: „Нет, больше б тосковал я, когда б они в пустыне этой были, когда б они вот так же пропадали, как я здесь пропадаю“. И отец спросил его: „А в вашей стороне того есть много?“ Он опять подумал,— и стали у него глаза такие, как у оленя, что на стуже плачет.

„Нет, говорит, у нас его немного. Мы больше мучимся, чтобы добиться, чем радуемся этому, но все же порой нам кажется, что мы имеем хоть капельку, или вот - вот достанем. Но мы хоть все - таки живем... Ну, я не знаю, как там по - вашему... не так, как тут живут“.

На это я сказал: „Да ведь у вас и пищи больше, и всего“. — „Не то, — сказал тогда чужой, — я о другом. Вот если кто из юрты выйти хочет, а тут его не пустят, да привяжут, то как по - вашему, где он сидит?“

„Конечно, в юрте!“ — все мы закричали.

„А если бы не в юрте, а в другом каком - то месте, где он сам не хочет, то как назвать?“ Тут мы не угадали; один сказал — „в лесу“, а кто - то — „в поле“, все без толку, не то, а я молчал, зачем и говорить, когда не знаешь.

Чужой все вспоминал: „Ну, хорошо вот, а как это зовется, если птицу имеет кто, что долго не летала, и выпустит лететь, то как он скажет, куда он выпустил? Вновь говорили: кто — „в поле“, кто — „в тайгу“, а кто — „на снег“.

Он рассердился и меня спросил он: „Ну, вот, когда тебя „тойон“ посадит в холодную“... „За что меня посадит? Все заплатил я“, — говорю чужому,

и рассердился сам. Тот засмеялся.

„Ну, не тебя, — еще кого -нибудь, — то что ему всего там тяжелее, — иль то, что не дают ни пить, ни есть, иль то, что родственников нет в холодной, иль то, что не дают итти домой и делать не дают, что он захочет?“

„Да как кому, кто что и больше любит“, — сказал отец. Чужой стал веселее. (Не знаю почему). И вновь спросил он: „Вот если любит кто, чтобы пускали ходить повсюду, делать все, что хочешь, то как сказать, что любит он? Но только одним сказать лишь словом? Ну, кто скажет?“

Сказали тут, кто — „делать“, кто — „ходить“, а кто — „не знаю“. Сморщился чужой:

„Нет, говорит, не то, не знаю слова. Ну, я вам так без слова расскажу, вы только лучше слушайте“. „Ну, ладно“, — сказали мы, хоть нам уж надоело, но было жаль чужого: он больной.

Стал говорить он: „Лучше для меня бы, когда ходить повсюду было б можно, и делать все. Вот этого и нет“.

Мы засмеялись: выдумал чужой! Ходил он всюду, где и мы ходили, сам разве не хотел, когда мороз; а то ходил за рыбой, на охоту, и раз далеко ездил он к „чужим“, к тойону ездил, да и к нам ходил он,

езде бывал, все делал, что хотел; смотрел он в книжку, сам он делал книжки, и шил, и чай варил, ел что хотел, что лишь имел, не отнимал никто.

„Кто ж не дает тебе ходить, работать,— я говорю,— не мы?“ — „Да нет, не вы“.

„Или тойон? Так он когда приедет! А ты тем временем везде ходи, и делай все, что хочешь, мы не скажем тойону“. — „Тех тойонов очень много, не только ваш один“, — сказал чужой.

„Так те живут далеко, не приедут они совсем сюда, ты их не бойся, ведь не узнают“, — говорим чужому.

А он махнул рукой: „Что говорить вам! Не знаете! Куда я здесь пойду? И что я в вашей сделаю пустыне? А прочь от вас я не могу поехать, нет у меня здесь... Эх, не знаю слова!“

И как умолк чужой, то так до ночи и просидел, и нам не отозвался.

Не знаю до сих пор, что с ним случилось, что злой такой он в этот вечер был.

Зачем ему какое-то там слово?

Ну, нет и нет. Ведь много было слов в той книжке у него, и говорил бы себе как хочется, а мы не знаем, у нас и книжек нет, и мало слов.

Да, о чужом всего не досказал я.

Так, знаете, он умер. Все ходил я

к нему. И вот однажды я пришел, спросил я — от чего он умирает. От стужи, или от какой болезни. (Так о других порой он говорил, когда кто умирал). „Ведь ты же умный, знал о других, так знай и о себе“. А он мне отвечал: „Я умираю из-за того, чему здесь нет названия. Хоть есть его без меры в вашем крае, а то, что оживить меня могло бы, не называется никак, нет слова, но нет и самого его у вас. Когда б хоть слово было, может, я и жил бы с вами“... И чужой заплакал, сказав про то, и я заплакал с ним, ведь было жаль чужого, добрый был.

А слово то сказал мне раз „чужой“, по-своему, но я его забыл.

Оно чужое, что им называть нам.

Не нужно нам оно. „Чужим“ вот нужно.

Сказал чужой: что так вот умирает не он один, еще умрет не мало... Уж мы им говорили б это слово, когда кто из чужих так заболел, но что же, если нет его у нас.

Зачем оно, что значит это слово?

То, может быть, заклятье или чары, что от него так люди умирают...

ДАВНЯЯ СКАЗКА

Кто б хотел послушать сказку?
Вот послушайте вы слово!
Только вы уж не взъщитесь,
Что не все в нем будет ново.

Люди добрые, не все же
Выбирать одни новинки,
Иногда припомнить надо
И минувшего картинку.

Кто расскажет нам такое,—
В самом деле интересно,—
Чтоб никто не смог заметить:
„Это нам уже известно!“

Кто из вас полюбопытней,
Сядь и слушай эту сказку,
Мне же если уж не лавров,
То хоть бубликов дай вязку.

I

Где, когда, в какой державе,
Где хотите, там и будет;

Как в стихах, во всякой сказке
Все возможно, знают люди.

Где-то, как-то и когда-то
Проживал поэт несчастный,
Но талант у стихотворца
Был доподлинный и ясный.

Не был наш поэт подобен
Ни красавцам, ни калекам,
И плохим он тоже не был,—
Был он божьим человеком.

Тот певец — ну, что же делать!
Мы по правде скажем строго,
Что певцом поэт наш не был,
Так как вовсе петь не мог он.

Но была поэта песня
Звонкой, громкой, полной смеха,
И она неслась по свету
Стоголосо, точно эхо.

Не был он и одиноким,—
В малый дом певца простого
Молодежь всегда ходила,
Чтобы слушать песню-слово.

Это слово всем давало
И совет и утешенье,

И несли поэту люди
За труды вознагражденье.

Что могли — всегда давали,
И поэт наш благородный
Был доволен, если не был
Ни голодный, ни холодный.

Лишь весною шум зеленый
По дубраве заплещет,
Каждый день поэт приходит
На беседу к этой роще.

Так однажды ранним утром
Лег он здесь, но лег не с краю,
Или слушал шум дубровы,
Или стих слагал — не знаю.

Только слышит — говор, крики,
Рог охотничий играет,
Крик людской и лай собачий
Эхо чутко повторяет.

Кони быстрые несутся,
Шум яснеет понемногу,
И охотничья ватага
Выбегает на дорогу.

А как раз лежал поэт наш
На пути посередине.

„Гей! — кричит он, — осторожно,
Век загубите мой ныне!“

Хорошо, что не за зверем
Мчались те в привычном деле,
А не то бы на поэта,
Может быть, не посмотрели.

Первым ехал пышный рыцарь,
Он — лихой, избави боже!
„Ишь, — вскричал он, — что за птица!
Здесь лежать тебе негоже!“

„Не беда, — поэт ответил, —
Если ты свернешь с дороги,
Ведь колы рифмы прочь умчатся,
Не вернешь ты в ряд их строгий!“

„Вот еще охота тоже! —
Отозвался рыцарь вскоре: —
Слушай, ты, беги-ка лучше,
А не то узнаешь горе!“

„Эй, пред горем я не струшу,
С ним живу я днем и ночью,
Ты беги, ведь я, мой рыцарь,
На таких, как ты, охочусь!“

Рифмы — словно соколята
Прилетят ко мне из тучи,

И вонзятся в тех мгновенно,
На кого направлю лучше!“

„Ты, дружок, чертовски мудрый,
Не встречал таких по свету,
Но вести с тобой беседы
У меня минуты нету,

Ну, а то б мы посмотрели,
Кто осилит на охоте.
Хлопцы! Вы его с дороги
Поскорее уберете!“

„Вот спасибо за услугу!—
Наш поэт сказал,—несите,
Да листки с словами песен,
Что в траве лежат, возьмите“.

„Он наверно сумасшедший,—
Крикнул гневный рыцарь звонко:—
Пусть он знает нашу доброту—
Обойдем его стороной.“

Обожди ты здесь, приятель,
Возвращусь в долину эту,
Наделю тебя подарком,
А сейчас минуты нету“.

„Не тебя я ждать здесь буду,—
Так поэт наш отвечает:—

Кто ж кому отдаст подарок,
Здесь никто еще не знает“.

На слова поэта рыцарь
Не ответил, прочь умчался;
Вновь ватага зашумела,
Только лес и отозвался.

Разошлись они в дубраве,
На охоте в счастье веря,
Но за сутки не убили
Хоть какого-нибудь зверя.

А когда склонилось солнце
По-вечернему устало,
Стихли трубы, шум и крики,
Тишина к лугам припала.

Слет охотничий голодный
Изнемог и утомился,
Кое-кто в лесу остался,
Кое-кто с дороги сбился.

Отделившись от ватаги,
Едет рыцарь тот упрямый.
Глядь!— поэт лежит, как прежде,
На дороге той же самой.

„Ах, заждался ты подарка!—
Молвил рыцарь,— нам знакомо,

Но пусты мои карманы,
Деньги я оставил дома”.

Наш поэт лишь усмехнулся:
„Не волнуйся, рыцарь, к стати
У меня богатства столько,—
И тебе, пожалуй, хватит!”

Загорелся рыцарь гневом,
Давней гордостью объятый,
Но упрямством непомерным
Ум заменишь не всегда ты.

„Хватит шуток!”— крикнул рыцарь,
Оскорблен его рассудок.
А поэт ему: — „И сам я
Не люблю с панами шуток...”

Видишь ты дубраву эту,
Это поле, небо, море,
Это все — певца богатство
В яркой роскоши, в просторе.

И владея всем богатством,
Счастлив я, свободен в думе”.
Тут воскликнул рыцарь: „Боже!
Собеседник мой безумен!”

„Может быть,— поэт ответил,—
Видно, все мы в божьей власти.

Я своей судьбой доволен,
Вправду я имею счастье.

Да свободен я, а мысли
Быстролетны, словно птицы,
Нет для них на целом свете
Ни заставы, ни границы.

Я могу создать мгновенно
Все, что сердцем пожелаю,
Я на легких крыльях думы
В мир надзвездный улетаю.

Я свободно рею всюду,
Словно звонкий ветер в поле,
Сам я вольный и другому
Не нарушу в жизни воли!”

Засмеялся гордый рыцарь:
„Сказкой я не озабочен,
И тебе скажу на это:
Хоть ты счастлив, да не очень.

Я бы отдал мир видений,—
Говорю об этом прямо,—
За земное графство, что ли,
За земной хороший замок.

Я бы все твои богатства
И края химер и дыма
Променял бы на лобзанье
Славной девушки любимой...”

Наш поэт хотел ответить
И ему и всем повесам,
Но багряное светило
Скрылось вдруг за ближним лесом.

Молодежь села с работы
Той дорогой возвращалась,
Увидала стихотворца,
С ним приветом обменялась.

Тут поэт взял мандолину
И в ответ теплей, чудесней
Заиграл — и в лад с аккордом
Говорил словами песни.

Все в кругу не шевелились,
Зачарованно стояли,
А у девушек красивых
Очи радостью пылали.

Долго рыцарь слушал песню
И сказал, слегка робея:
„Поражен я силой слова!
Здесь я вижу чародея!“

II

Как-то в поздний летний вечер
Наш поэт сидел у окон,
От восхода до заката
Просидел он одиноко.

Так поглядывал он в окна,
Слушал песни, что из дали
Через поле в дом поэта
Отголоском долетали.

Песни смолкли, и поспешно
Ночь на землю прилетела,
Говорили клены с ветром,
Речка быстрая шумела.

Наш поэт сидел во мраке
И внимал природы шуму,
Взор в пространство устремляя,
Думал тайную он думу.

Слышит вдруг — подъехал кто-то,
Конный топ сильнее грома,
Резко звякнуло оружие
Возле маленького дома.

Что за диво! Под окошко
Кто-то тихо подступает.
Тут поэт негромко: „Кто там?—
Незнакомца вопрошает.—

Если вор, то ты ошибся,
Хоть каким бы ни был смелым!“
„Это я,— раздался голос,—
Я к тебе за важным делом“.

„Кто же ты?“ — спросил хозяин.

„Я, Бертольд, войти желаю“.

Тут поэт припомнил голос:

„А, охотник! Знаю, знаю!

Что ж, прошу войти в жилище,

У меня здесь темновато:

Если я один бываю,

То огня не знает хата;

Но для гостя свет найдется“.

Он добыл тотчас кресало,

И фигура властелина

Перед ним тогда предстала.

„Добрый вечер!“ — „Добрый вечер!“

Стал Бертольдо — и ни слова.

Позабыв о важном деле,

Долго он молчал сурово.

„В чем же дело, гость вечерний?“ —

Так поэт спросить решился.

И ответил рыцарь тихо:

„Я, приятель мой, влюбился“...

Тут сказал ему хозяин:

„Что ж сказать тебе на это?“

Впрочем, ты поведай дальше,

Коль приехал в дом поэта“.

„Я влюблен и погибаю, —

Тот сказал, — и в дни и в ночи

Вижу я перед собою

Только милой девы очи“.

„Что ж? — поэт сказал учтиво: —

Значит, время и для свадьбы!“

„Ох, боюсь, — вздыхает рыцарь, —

Как ее не утратить бы!

Под балкон чудесной донны

Прихожу я каждый вечер,

Провожу печально ночи,

Но напрасны слезы, речи.

На мою тоску и вздохи

Не услышал я ответа,

Чем привлечь сердечко милой —

Не могу решить я это.

Может, если разобратся,

По душе ей серенада?“

А поэт на это: „Птичке

Поднести приманку надо!“

„Голос есть, — ответил рыцарь, —

Но стихи не льются что-то“.

„Да, — поэт ответил, — ясно:

То не легкая охота.

А не то, понятно, каждый
Пел бы, лаврами объятый:
Нет, крутой и своенравный
Конь поэзии крылатый!

„Это правда,— молвил рыцарь,—
Но тебя я умоляю,
Помоги мне в этом деле,
Твой талант с тех пор я знаю.

Ты своим стихом прелестным
Чаровал народ в дубраве.
Только ты один и можешь
Посоветовать, направить.

За совет я дам что хочешь,
Награжу поэта вдосталь“.
„Ну, на это не надеюсь,—
Отвечал хозяин просто.—

Помогу я и без платы,
Рад друзьям давать отраду.
Подожди немного, скоро
Ты получишь серенаду.

Но для этого я должен
Знать красу и имя девы“.
„Имя донны — Изидора,
Лик — не сыщите нигде вы“.

Прекратил поэт расспросы,
За минуту за едину
Исписал листок бумаги,
Снял со стенки мандолину.

Показал слова Бертольдугу,
Мандолину сунул в руки,
Дал ему стихи о донне
И промолвил для науки:

„Распевая, ты на струнах
Так подыгрывай куплетам:
До - фа - ля - соль, фа - ми - ре - соль ...
Разберешься дальше в этом“.

„Вот спасибо!“ — крикнул рыцарь.
Наш поэт не отозвался,
Как уж рыцарь — за калитку,
На коня! — и прочь помчался.

Быстро мчался гордый рыцарь
Через доли, через горы,
Стал он только под балконом
Драгоценной Изидоры.

Под балконом милой донны
Мандолина зазвенела,
И в потоке звуков сладких
Серенада полетела:

„Гордо, пышно и лучисто
Золотые светят зори,
Но никто из них не в силе,
Быть подобной Изидоре!

Дорогие бриллианты
Засияли как в узоре,
Но никто из них не в силе
Быть подобным Изидоре!

Много жемчугов ценнейших
Мы находим в синем море,
Но никто из них не в силе
Быть подобным Изидоре!“

И едва лишь серенада
Зазвучала на просторе,
Тихо вышла Изидора
Посмотреть тайком на зори.

А едва лишь под балконом
Он закончил серенаду,
Донна бросила Бертольду
Розу пышную в награду.

Вот исчезла Изидора,
Стало тихо, как и прежде,
Но остался наш Бертольдо
При цветке — и при надежде!

Боже! И чего не может
Сделать с нами серенада!..
Уж не мучают Бертольда
Грусть и темная досада.

Взор у донны Изидоры
Становился все яснее,
С каждым днем влюбленный рыцарь
Находил ее добрее.

Вот уж перстень Изидоры
На руке его сияет,
Вот невестою своею
Рыцарь донну называет.

Было весело на свадьбе
И, по божьему веленью,
Танцовали, пировали
С воскресенья к воскресенью.

Всех позвали, угощали,
Всем прекрасно угодили,
Только нашего поэта
Почему-то позабыли.

Ясно, дел уж очень много
Есть у пана молодого,

Мудрено ли, если в шуме
Бедняка забыл он снова?

Время мчалось как на крыльях,
Сном волшебным пролетало,
Не почувал он, как горе
Неожиданно настало.

Захотелось королеве
Покорить края чужие,
Кличут рыцарей герольды
На походы боевые.

И как раз в разгаре пира
В замке нашего Бертольда
Загремели громко трубы
Королевского герольда.

Ты прощай, моя супруга,
Все улады и свободы!
Это все сменить я должен
На далекие походы.

И Бертольдо покидает
Молодую Изидору.
Рано утром он стремится
К неизвестному простору.

Переправиться за море
Войско рыцарей стремится:

Там чужое государство
И богатая столица.

Мчатся рыцари отважно
Через ветры и пустыни,
Но по родине любимой
Не один вздыхает ныне.

Но когда с особой силой
Горечь в сердце проникала,
Шли певцы вперед — и песня
Злую муку прогоняла:

„Не печалься, если горе
В край чужой тебя закинет!
Край родной хранишь ты в сердце,
Память ясная не сгинет.

Не печалься, не напрасны
Эти слезы, эта мука:
Полюбить отчизну крепче
Учит долгая разлука“.

Так они шагали с песней,
Сыновья походов дальних,
Утешала эта песня
Многих рыцарей печальных.

Впереди большого войска
Трое лучших выступали:

Карлос, Гвидо и Бертольдо, —
За отвагу их избрали.

Долго ехали, Однажды
Разбежались три дороги,
Тут друзья и разлучились,
Каждый сделал выбор строгий.

Карлос выбрал путь направо,
Гвидо — влево торопливо,
А Бертольд пошел впрямую.
„Помогай нам бог!“ — „Счастливо!“

И Бертольду вправду счастье
Улыбнулось для начала,
Покорить успел в походах
Городов чужих не мало.

На враждебную столицу
Он смотрел отважным глазом,
Но другою стороною
Повернулось счастье разом.

Может, в войске у Бертольда
Утомилась все солдаты,
Может, цепко за столицу
Ухватился царь проклятый.

Только твердо защищался
Этот город вражий гордый,

Раз отбился, и вторично,
В третий раз, потом в четвертый.

Тут Бертольд спознался с горем:
Чуждый край, чужие люди,
Голод, беды, войско гибнет...
Что же будет, что же будет?!

Месяц, два уже ведется
Эта тяжкая осада,
Скоро в войске поселились
И тревога и досада.

Приступили все к Бертольду
И ему сказали грозно:
„Выводи ты нас отсюда,
Выводи, пока не поздно!“

Для чего сюда на гибель
Нас привел ты за собою?
Или хочешь, чтобы все мы
Отвечали головою?

Надоел нам этот город,
Что с того, что он обложен!
К чорту гнать такую славу
И победу к чорту тоже!..“

Он хотел разумным словом
Успокоить войско злое,

Но солдаты приходили
В настроение плохое.

Вот уж кинулись к оружию...
Бог свидетель, что б случилось...
Только кто-то крикнул: „Стойте!“
Войско вдруг остановилось.

Вышли тут певцы из войска,
Те, что пели в праздник, в будни,
Были все они с оружием,
А в руках держали лютни.

И один воскликнул: „Братья!
Вам ли часа не хватает.
Коль казнить его — Бертольдо
В вашей власти пребывает.

Мы б хотели в этом деле
С нашим словом быть на страже,
Но певцам лишь петь пристало,
Пусть напев вам все расскажет“.

Тут один из них тихонько
Струн серебряных коснулся,
Он запел при этом песню
И лукаво усмехнулся:

„Жил да был отважный рыцарь,
Скажем мы о нем немного:

Страсть питал к походам длинным —
От плиты и до порога.

Языком своим усердным
Поражал врагов он чисто...
Знали все его рассказы:
„Я один, а их аж триста!“

Ну, так сей отважный рыцарь
Раз и впрямь дорвался к бою
И пришел живой, здоровый:
Талисман имел с собою.

Талисман чудесный этот
Все узнать вы здесь готовы.
Это мудрое реченье:
Удирай, пока здоровый!“

„Удирай, пока здоровый!“ —
Все певцы тут повторили.
Люди все стояли тихо,
Взоры в землю опустили.

Вдруг оружие засверкало,
И сказала войско хором:
„Мы опять готовы к бою,
Лучше пасть, чем жить с позором!“

И пошли на штурм солдаты
Так упорно, так геройски,

Не успела ночь нагрянуть,
Как вошло в столицу войско.

Город взят, царя пленили,
И добычи тоже много.
Вот теперь уже открыта
Всем на родину дорога.

Тут на радостях Бертольдо
Всех певцов к себе свывает,
И когда они собрались,
Он на людях объявляет:

„Вы, певцы, народа слава,
Вам сказать об этом надо,
Вы нам честь спасли сегодня
И за это вам — награда!“

Но певцы в ответ сказали:
„Награждай не нас уж лучше:
Тот, кто песням научил нас —
Пусть награду и получит.“

„Где же он? — спросил Бертольдо, —
Что ж он прячется меж вами?“
„Он не здесь, — певцы сказали, —
На войне он не был с нами.“

Он остался, чтобы песней
Веселить народ в отчизне,

Не в одном печальном доме
Пробуждает радость жизни“.

„Знаю этого поэта,
Это сердце тоже знаю,
И теперь его по-царски
Наградить скорей желаю.“

Только дай нам бог счастливо
Поскорей вернуться к дому,
Серебра и злата много
Дам поэту дорогому!..“

IV

Из намерений хороших
В ад издавна путь сложился,
Вот для этой-то дороги
И Бертольдо потрудился...

Уж давно с чужбины дальней
Гордый рыцарь возвратился,
Вместе с милою супругой
Он и жил и веселился.

В пышном замке вновь открылся
Вечный праздник, как когда-то,
Было много у Бертольда
Серебра, мехов и злата.

Кроме той обильной дани,
Что набрал он в час военный,
Дал король ему подарок,
А подарок был отменный.

Много денег и поместий!
Уж Бертольдо в графском лике,
Он живет в роскошном графстве,
Словно сам король великий.

Подчинили край Бертольду
Тот, где рыцарь жил с измальства,
А народу приказали
Видеть в нем свое начальство.

Счастья этого Бертольдо
Лишь вначале был достоин,
Правый суд вершил он в графстве,
Был народ его спокоен.

Только так недолго было,
Граф входил во вкус лукавый,
Понемногу в этом графстве
Он завел иные нравы.

На напитки да закуски,
На роскошные наряды,
На турниры да забавы —
Очень много денег надо.

А к тому ж в далеких войнах
Грабить граф наш приучился,
И теперь в подвластном графстве
Тем спасти себя стремился.

И народ конца не видел
Всяким пошлинам, налогам,
И заставы, и рогатки
Граф поставил по дорогам.

Передать словами трудно —
Горе стало повсеместным,
Люди мучились, как в пекле,
Рыцарь жил в раю чудесном.

Веселился граф привольно,
Под ярмом стонали люди,
И порой казалось — рабству
Никогда конца не будет.

Разливался стон народный
По стране волной печали,
И на сердце у поэта
Эти стоны прозвучали.

Вот пришли однажды к графу
Вести, полные тревоги:
Донесла ему охрана,
Что опасны все дороги.

Что певцы в столице бродят,
Песни их народ морочат,
Все о равенстве и воле
В песнях дерзостно пророчат.

Уж бросают их и в тюрьмы,
Но ничто не помогает,
Песни те идут к народу,
И народ их повторяет.

„Ну,— вскричал Бертольдо,— басня!
Я возьму их живо в руки!“
Вдруг он слышит — где-то рядом
Полились напева звуки:

„Коль мужик — сырая хата,
Хата пана — на помосте,
Что ж, недаром говорится:
У панов — белее кости!

Коль мужик — то руки черны,
Ручка панночки — иная,
Что ж, не даром говорится:
Кровь у пана — голубая!

Мужики — то любопытны:
Кости те всегда белы ли,
Кровь прольется ль голубая,
Если б пану грудь пронзили?“

„Это что? — кричит Бертольдо.—
Гей, скорей певца ловите,
Да в тюрьму его и в цепи,
Да скорей, скорей бегите!“

Из-за стен высоких замка
Крикнул голос, полный боли:
„Гей, холопы, торопитесь
Да ловите ветра в поле!

Не волнуйся, граф, напрасно,
Ведь за нами не угнаться,
Нынче нас поймаешь десять,
Завтра встанут новых двадцать!

Ведь у нас большое войско,
Мы имеем атамана,
Он у нас отважный рыцарь,
И к тому — знакомый пана“...

Как сквозь землю провалился
Тот певец, бежал от лиха.
А Бертольд сидел и думал
И затем промолвил тихо:

„Мы имеем атамана! —
Вот о чем я думать вправе.
Ну, теперь я очень скоро
Положу конец забаве!“

Тут Бертольдо двух вернейших
Слуг в поместье вызывает,
И немедля в дом поэта
С порученьем посылает:

„От меня ему скажите,
Не забыл я и поныне,
Как он песнями помог мне
В тяжелой битве на чужбине.

За великие заслуги
Я хочу с ним расплатиться,
Он при замке в добром доме
Может вольно поселиться.

Я талант его великий
Так ценю и уважаю,
Что своим певцом придворным
Утвердить его желаю.

Вы скажите, что при графе
Будет жить в почете, в славе,
Только басни пусть забудет
О какой-то воле, праве!“

Поспешили мигом слуги
В то убогое селенье,
Принесли они поэту
От Бертольда приглашенье.

Усмехаясь, он послушал
Слово графского привета,
А когда замолкли слуги,
Так ответил им на это:

„Вы скажите в замке графа,
Что награды не желаю,
Если я дарю однажды,
То назад не отбираю.

Пусть он сам теперь припомнит,
Дал ему я деньги, славу,
Хоть теперь и сам жалею,—
Лучше бросил бы в канаву!

Передайте: не желаю
Славы графского обмана,
Ведь недобрую лишь славу
Нам приносят руки пана.

Золотых не жду я лавров,
С ними счастья не добуду.
Если ими увенчаюсь,
То поэтом уж не буду.

Не поэт, чьи мысли птицей
Не летают вольно в свете,
А попали безвозвратно
В позолоченные сети.

Не поэт, кто забывает,
Что страшны народа муки,
Кто под цепи золотые
Подставлять согласен руки.

Так идите и скажите,
Жизнь моя иному служит,
Не сложу до самой смерти
Песен честное оружие!“

С тем вернулись слуги в замок,
И Бертольду рассказали:
Так и так поэт ответил,
Мы напрасно убеждали ...

И вскипел Бертольд, услыша
Неподатливое слово,
Он к поэту посылает
Тех послов покорных снова:

„Вы мятежнику скажите,
День суда настал и мщенья,
Я терпел поэта долго,
Но пришел конец терпенья.

Если он стихов бунтарских
Сочинять сейчас не кинет,
Я в тюрьму его упрячу,
Там, проклятый, он и сгинет!“

Снова слуги поспешили,
Прибежали в миг единый
И слышали: несется
Тихий рокот мандолины.

Заглянули слуги в окна,
Видят: сбор необычайный,
Все стоят вокруг поэта,
Как совет какой - то тайный.

Наш поэт устал в работе,
Третий день лежит в недуге,
И в печали у постели
Земляки стоят и дружи.

А поэт играет тихо,
Что - то пишет на бумаге,
Раздает немедля людям
Песни, полные отваги.

Слуги — в дом, а все — из дома,
Но поэт держался твердо,
Посмотрел на слуг спокойно
И приветствовал их гордо.

Слушал графские угрозы,
Слушал молча, усмехался,
А когда умолкли слуги,
Так поэт наш отозвался:

„Вы скажите в замке графа,
Что поэт готов в дорогу,
Только пусть пришлют скорее
Двух лакеев вам в подмогу.

Хоть любезно приглашение,
Не могу я встать с постели,
Вам нести меня придется
К новой хижине и цели.

И в темнице будут вольны
Мои думы - чаровницы,
Нет для них на целом свете
Ни заставы, ни границы.

Слова быстрого не свяжет,
Не задержит и темница,
Полетит оно по свету,
Как ликующая птица.

И сольется с этим словом
Горечь скорбная сурово
И утроится в неволе,
Станет страшной сила слова.

Стихотворец от народа
Не услышит слов упрека
В день, когда в стальные цепи
Закуют его жестоко!“

Так в тюрьме он жил до смерти,
Но не падал пред судьбою,
За тюремные напевы
Расплатился головою.

Но потомки стихотворца
Стали петь еще чудесней,
Взяли юноши в наследство
Все слова его и песни.

Началось вокруг восстанье,
И убили графа люди,
И подумали, что больше
Рабства темного не будет.

Но потомок был у графа,
Скоро стал он всем известен,
Взял от графа он в наследство
Подлый нрав и все поместья.

Меж потомками тотчас же
Началась борьба крутая,
И сейчас она ведется,
Ни на миг не утихая.

И теперь потомки графа
Всюду тюрьмы воздвигают,
А поэтов потомки
Слово к бою закаляют.

Против каинова дела
Выступает слово права.
Страшно долгое сражение,
Хоть оно и не кроваво.

А когда война утихнет
Того дела, того слова,—
То окончится и сказка,
Будет праздник правды новой.

1893

СОДЕРЖАНИЕ

Слово (перевод Марии Комиссаровой) 5

ЛИРИКА

Мой путь (перевод А. Безыменского)	9
Предрассветные огни (перевод Я. Городского)	11
Тишина морская (перевод Марии Комиссаровой)	13
В ненастную тучу... (перевод Марии Комиссаровой)	15
Давняя весна (перевод Марии Комиссаровой)	16
Эта тихая ночь (перевод Марии Комиссаровой)	18
Мать - раба (перевод Марии Комиссаровой)	19
To be or not to be (перевод Марии Комиссаровой)	21
Отклики (перевод Я. Городского)	24
Fiat pot (перевод Марии Комиссаровой)	25
Я сама себе на горе... (перевод Марии Комиссаровой)	28
Мечты (перевод Я. Городского)	29
Отрывки из письма (перевод Н. Брауна)	34
Проклятие Рахили (перевод А. Безыменского)	37
Осталась неоконченной беседа (перевод Я. Городского)	40
Забывтая тень (перевод Марии Комиссаровой)	42
Сфинкс (перевод Н. Брауна)	

Ра - Менеис' (перевод Н. Брауна)	47
Зачем я не могу ... (перевод Н. Брауна)	54
Повсюду плач ... (перевод Я. Городского)	56
Трагедия (перевод Марии Комиссаровой)	57
Дым (перевод П. Антокольского)	59
Надпись на руине (перевод Н. Брауна)	63
Дыхание пустыни (перевод Н. Брауна)	66
Дочь Иефая (перевод Марии Комиссаровой)	67
Случилось это в дни ... (перевод П. Антокольского)	69
На годовщину (перевод Я. Городского)	71
На стоянке (перевод Н. Брауна)	73
Итальянская народная песня (перевод Я. Городского)	77

БИБЛИОТЕКА
 № 2
 Учен. №

ПОЭМЫ

Изольда Белорукая (перевод П. Антокольского)	81
Вида посестра (перевод Марии Комиссаровой)	92
Одно слово (перевод Марии Комиссаровой)	104
Давняя сказка (перевод Я. Городского)	112



Типография им. М. В. Фрунзе. Харьков, пер. Фрунзе, 6. Уполномоченный Главлита 2363. Зак. 892. Тираж 5000. 4²/₃ печ. листа

Издание 970. Бумажи. ф. 60X92—49 кг. ²⁵/₁₆ бум. листа. В 1 бум. листе 73.000 зн. Сдано в работу 25-X-33 г. Подписано к печати 20-VII-39 г.

Контроль
№ 4